

18+

ЦАРСКИЕ ВРАТА

ЕЛЕНА КРЮКОВА



Елена Крюкова

Царские врата

«Издательские решения»

Крюкова Е.

Царские врата / Е. Крюкова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-509794-1

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Алена Лесина — отличный стрелок — становится снайпером на чеченской войне. Она учится убивать. Меняет веру. Меняет имя. Внутри ужасов войны ей удастся выносить и родить ребенка. И Алена бежит, с младенцем на руках, из войны — в мир, что порой опаснее любой жестокой битвы. Как вернуться в родной город из огня сражений? Каково это — снова стать русской после того, как ты побыла правоверной мусульманкой? И главное — как сделать так, чтобы на душе наемной убийцы зарубцевались страшные раны смертей... Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-00-509794-1

© Крюкова Е.
© Издательские решения

Содержание

ЦАРСКИЕ ВРАТА	6
Свет покаяния	6
Пролог. Зимнее утро	8
СНАЙПЕР	12
левая створка врат	12
Фреска первая. Огонь	13
Жизнь Алены до войны	13
Первый сын	18
Убила	19
Детские стихи Алены	25
Фреска вторая. Голубь	26
Алена и винтовка	26
Плата за плату	33
Страх Алены	36
Песня Алены	38
Алена и монахи	39
Медная рака	42
Детские стихи Алены	47
Фреска третья. Вино	48
Алена спасает мальчика	48
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Царские врата

Елена Крюкова

Дизайнер обложки Владимир Фуфачев

© Елена Крюкова, 2019

© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2019

ISBN 978-5-0050-9794-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЦАРСКИЕ ВРАТА

Свет покаяния о романе Елены Крюковой «Царские врата»

Она, героиня романа, ненавидит войну. И себя за то, что ей приходится убивать – убивать молодых русских солдат, ибо она снайпер и воюет на чеченской стороне. Понимая: это не ее война и не война русского народа.

Алена, юная провинциальная девчонка, хорошая девочка, попала на нее случайно: одна страстная ночь с заезжим морячком, беременность, аборт, отчаяние. Ее, наделенную редким талантом – без промаха попадать в цель – «приглядели» понимающие люди. Она прошла специальную подготовку, за время «учебы» наконец получила возможность роскошно кормить своих родителей и бабушек, татар и русских, самым вкусным, самым дорогим. А потом – была война, где надо «работать», надо убивать. Здесь смерть – такое же искусство, как другие искусства, такой же товар, как другие. А она очень боится смерти. Но после того, как была вынуждена расстрелять чеченскую семью, в том числе и совсем кроху, лежащую на руках матери, она пыталась покончить жизнь самоубийством. Не удалось. Это первая часть романа, «Снайпер»: морок и хаос войны, кошмар, из которого нет выхода. Рельефно прописанные сцены, эпизоды – и погружение во внутренние переживания девушки, которая, вопреки всему, пытается спасти тех, кого может – детей и взрослых.

Вторая часть, «Святая», это уже жизнь Алены в родном городе, жизнь после не ее войны.

Вернулась она домой с ребенком – сына родила в полуразрушенной сакле, под взрывы снарядов. И начинается другой путь – воцерковление невоцерковленного человека, мало знавшего о Боге, не умевшего молиться, не желавшего знать, что делала ее душа. Это путь любви, путь служения слабым, обездоленным, незащищенным: уборщицей в больнице, санитаркой в родильном доме, заботливой помощницей престарелым и сирым соседям, провожающей их и в последнюю дорогу.

Она полюбила людей. «Мать. Я – мать. Мать не только моему сыну. Я просто мать, я мать всех живых и живущих. А может, всех рожденных и нерожденных. А может, и всех мертвых, не знаю. Такое чувство, как любовь. С ним ничего не сделаешь».

Со словом любви Алена придет и в мечеть, и в синагогу, и к кришнаитам, ибо обретенный Бог-любовь для нее нечто большее, чем православный храм. Обретя веру в Бога, она сама совершит чудеса, и чудеса будут свершаться вокруг нее. Грехи – а среди них аборт, убийства, принятие мусульманства, – будут прощены, пред ней откроются Царские врата, ведущие к престолу Господню.

Вторая часть – фактически «житие» Алены, где насыщенная внутренняя жизнь героини точно сопряжена с жизнью прозаической и реальной: безденежье, рост цен и квартплаты, ежедневная борьба за выживание, вторжение в, казалось бы, мирную жизнь криминала. При всей своей внешней простоте – преображение грешницы в праведницу, своеобразная яркая иллюстрация к речению: «Претерпевший же до конца спасется» (Мф. 24. 13), – роман сложен, прекрасно сложен. Наверное, общим местом станет такая характеристика творчества Елены Крюковой, как проза, в которой сливаются вместе слово, звук, цвет. Музыкант по образованию, арт-критик, куратор и автор ряда художественных проектов, пребывающий в среде художников, она действительно синтезирует три вида искусства. Музыкант – в построении композиции, в звучании и переходах тем, в изменении ритмики повествования. Художник – в изображении сцен и даже внутренней жизни героев яркими мазками, короткими, обрывающимися фразами.

Даже главы в романе – не главы, а фрески, названия которых – изображения на Царских вратах: белый голубь, льющееся из кувшина красное вино, играющая серебряная рыба... И так до изображения золотой чаши на Вратах. Осмысленные символы, увязанные с содержанием глав.

Если что и превалирует в этом синтезе искусств, то все-таки Слово и Мысль. Это необычайно эмоционально напряженное повествование. Оно ведется от лица самой Алены: прерывистый поток сознания; беседы с нерожденным сыном и неизгладимое чувство вины за это первое в ее жизни убийство – аборт. Повествование ведется и от авторского лица: выразительные эпизоды из жизни Алены, ее сны и видения, в которых к ней приходят и нерожденный сын, и расстрелянный ею младенец, и Богородица, и Христос. В повествование включены и монолог ребенка, которому не суждено было родиться, но суждено испытать ужас преждевременной своей гибели, и монолог ребенка, на свет являющегося, и поток сознания Ивана, сына Алены, чью жизнь она отмолила у Бога.

О себе Алене рассказывают Руслан, глава отряда боевиков, который хорошо поставил ей руку, научил отлично прицеливаться и привез в Чечню; и Ренат – возлюбленный Алены и отец ее ребенка. Полифония – еще одна характеристика, утвердившаяся за прозой Елены Крюковой.

Алену Бог простил, ибо «Я пришел не к праведникам, а к грешникам. Разве войну развязывают праведники? Разве друг в друга праведники стреляют?» Простит ли Алену читатель? Это тяжело. Собственно, книга – о сосуществовании в душе одного человека и Божьей благодати и демонической ярости, Добра и Зла; о покаянии, о прозрении души, мечущейся в потемках, о жизни и смерти; в конце концов, о нравственном законе, едином для всех людей, вне зависимости от их вероисповедания: не убий.

*Елена Зиновьева
журнал «Нева», №9, 2013*

*– Стреляй! Што жэ ты! Вал-чица!
Вокруг грохот. Чернота. Ночь.
Она ненавидит ночной бой.
Днем все видно. Ночью наступает слепота. Ночью жжжет веко прицел.
Огни впереди. Свои? Чужие?
Голос ввинчивается в уши. Орет надсадно:
– Што сидишь! Што спишь, мать твою! Стреляй!
Она должна стрелять. Работать должна.
Она ненавидит войну. И себя.
Она очень боится смерти.
Надо работать. Убивать.
Голова гудит. Упасть и удариться виском об острый белый камень.
Белый камень, черная ночь. Огни.
Черная винтовка. Первобытные белые камни. Камень мертвый. Ты живая. Рядом
лежит мертвый человек. Ты не помнишь, как его звали. Не знаешь. Не хочешь знать. Он весь
в крови. И ты в крови. Это не твоя кровь. Это чужая кровь.
– Стреляй! Ну!
И ты стреляешь.*

Пролог. Зимнее утро

Алена проснулась от холода.

Под двумя вытертыми, старыми верблюжьими одеялами она стала корчиться и сворачиваться в клубок, как старая кошка при сильных морозах, и у нее замерзла голова и утюгами застыли ступни.

Открыла глаза. Потерла лицо ладонями.

Выбралась из-под тощих одеял, накинула на себя быстро, дрожа, куртку, напялила лыжную шапку. Глянула в зеркало. «Старая лыжница, – подумала Алена весело и зло, – пробежала дистанцию, все. Финиш».

Дом, деревня, погибшая в снегах, она одна. Далеко, в больших и страшных городах, единственный сын.

Быстро просвистела жизнь. Лыжи по лыжне. И кувырк. И сугроб. Су-гроб.

Алена вышла в сени, откинула черный чугунный крюк. Наложила в сгиб руки разномастных дров – и аккуратные поленья, и черные корявые спилы мертвых ветвей.

Задыхаясь, вывалила дрова на пол у печки. Набросала в зев печи веток и щепок на розжиг. Бумажку смяла; подожгла. Огонь взялся сначала лениво, потом стал полыхать, расцветать все ярче.

Сгораешь, жизнь, снова подумала, глядя в огонь.

Пламя радостно пожирало ветки, обнимало поленья.

Глядя на рыжую лисью шерсть огня, грела руки. Ворошила былое.

«Хоть бы ты ослепла, память, что ли».

Побрела на кухню. Грязные обои в мелкий цветочек подмигнули призраком мертвого лета. Солдаты-тарелки стояли в ряд на полке. Она из них не ела. Готовила еду в кастрюле и ела, как собака, из миски; потом тщательно мыла в тазу и кастрюлю и миску. Черпнула ковшом воды из ведра, налила в чайник. Чудо, плитка еще работала. То и дело перегорала спираль, и Алена ее чинила, беспомощно копошась в тугих завитках старой проволоки.

Чайник запел, засвистел тонкой дудочкой. В чашке с красной розой заварил чай.

Потопала тяжело, как медведица, в комнату, осторожно неся чашку перед собой.

Села за стол. Прихлебнула горячего. Обожглась.

Цапнула крышку сахарницы. Мышка не приходила, крышка на месте. Кошку надо бы. С кошкой – хлопотно: то ей молочка, то мяса, кормить кошку надо.

Алена погрела руки о чашку. В печке весело трещали дрова.

Это была ее жизнь, это еще была жизнь.

Медленно, обжигаясь, пила чай. Есть не хотелось.

На оконных стеклах иглисто сверкали, переливались в лучах желто-оранжевого январского восхода ледяные узоры: белые хвои и папоротники, перламутровые розы и тюльпаны. Живые цветы умерли. Остались только ледяные.

Печь начала не просто шелкать, как орехами, дровами – гудела густым басом. Хорошо разгорелось. Надо еще дров подложить.

Сунула в печь одно желто-восковое полено, другое. Поворошила кочергой головни.

Сдернула лыжную шапку – жарко становилось.

Застелила постель. Разгладила складки на одеяле.

На стене старая фотография: она и сын. Она молодая, стройная: девочка. Сыну семь лет. Прижался к ее ноге. Женщина и мальчик не знают, что впереди.

Дрова трещали. Печка гудела. Дом наливался теплом, как вином.

Вино, давно не пила. Лакомство забытое. Забытый праздник. Сын угощал ее, когда приезжал.

Теперь не приезжает. Не приезжал давно.
Огромные, страшные города. Тысячи чужих, мимо летящих лиц.
Другой мир. Забытый.

Частый и громкий стук в дверь сотряс дом.

Алена вздрогнула.

Подошла к двери. Слушала пустоту.

– Кто?

– Открой, Алена! Не бойся.

«Знает мое имя. Голос незнакомый. Открою».

Откинула крюк. Мороз опухнул лицо.

На крыльце женщина. Лицо обвязано шерстяным платком толстой, грубой вязки, концы платка продеты под мышками и завязаны на спине. Изношенная короткая шубейка. Глаза под платком горят, два угля.

За спиной ее красно-рыже, разливая огненный мед на полнеба, холодно пылало взошедшее солнце.

Морозный пар клубился в дверях.

– Пригласишь? Или сама войду?

«На „ты“ меня называет, собачонка».

– Входи.

Алена посторонилась. Женщина вошла, отряхивая снег с пухового платка. «Платок как у чеченки».

– Раздевайся. Разувайся.

Подвинула ногой старые шлепанцы.

Женщина разматывала платок, медленно стаскивала шубу. Волосы забраны в пучок, темные, с проседью. «И я носила пучок, и у меня когда-то были такие... густые». Алену охватила внезапная зависть. Женщина моложе, свежее, сильнее.

– Проходи. Не Раисы Захаровой дочка?

Женщина села за стол. Терла ладонью замерзшие щеки.

– Не Раисина дочка?

Женщина молчала.

– Значит, не Раисина.

Женщина молчала.

– Чего молчишь? На крыльце говорила.

Женщина молчала.

Алена умолкла. Вглядывалась.

«Да я же... в зеркало смотрю».

Крикнула громко, на всю избу:

– Кто ты?

– Я Алена.

Алена поймала ртом воздух.

– И я – Алена!

– Я знаю, – сказала женщина без улыбки. – Поэтому и пришла.

– Кто ты?!

– Я – это ты.

Алена схватилась за стол, встала.

«Сейчас упаду, разобьюсь в кровь и проснусь».

– Ты не спишь, – сказала женщина ясным голосом. – Здравствуй.

И протянула к ней руки.

Алена отшатнулась и закричала.

– Я настоящая, – сказала женщина. – Я это ты. Ты это я. Мы обе – это Алена. Не бойся.
– Откуда ты взялась...
– Оттуда не возвращаются. А я вот вернулась. Хоть чаем напои, замерзла я.
Женщина пила, грея руки о кружку, кусая жесткие карамельки.
Алена все пристальней глядела в зеркало живое.
«Так не бывает».
– Бывает, – женщина оторвала губы от горячей кружки. Утерла рот ладонью. – Гляди сюда.
Быстро, едва не порвав ворот рубахи, раскрыла грудь.
– Ну?!
Этот старый, белый и грубый рубец. Плохо заживший шов. Старая рана.
Чуть ниже ключицы, чуть выше медного креста.
Аленины руки сами протянулись, расстегнули пуговицу.
– И у меня такой же, вот.
Пальцы ощупали рубец. Пальцы сами узнали.
– Как ты выжила?
– Я? – Задыхались обе. Не могли говорить. – Сама не пойму.
– Я тоже не знаю. Что со мной?
– С тобой? Со мной...
– Мы думаем...
– Я уже ничего не думаю. Мыслей нет. А только смотрю на тебя, и все.
– На себя... Смотри... Вот ты какая стала... я...
– Вот я какая – была...
Руки двигались. Подавались навстречу другим рукам.
Летали над кружкой, над пустой чашкой. Боялись.
Боялись прикоснуться – и ощутить пустоту.
– Кто-то из нас спит, – тихо сказала Алена.
– Нет, – сказала молодая Алена. – Мы обе не спим. Мы настоящие.
– Так не бывает. Ты же... – Она не смогла сразу выговорить это слово. – Умерла.
– Это ты умерла.
– Мы смотрим друг на друга. Ты живая.
– Врешь. Я разговариваю с зеркалом. Я спятила. Сейчас.
Алена встала из-за стола и шагнула к зеркалу. Протянула руки.
– Разбить хочешь? – тихо спросила молодая Алена. – Не получится. Я живая.
Алена бессильно опустилась на стул. По щекам сползали мелкие слезы, стекали на шею, на расстегнутый воротник ночной сорочки.
– Зачем ты пришла? За мной? Я готова, – улыбнулась.
Женщина тоже плакала. И тоже улыбалась.
– Пришла посмотреть на тебя. Не бойся. Ты боишься.
– Я не боюсь.
– Нет, боишься. Только себе не признаешься.
Алена подалась к ней всем телом, чтобы услышать.
– Я хотела увидеть тебя. Какая я стану. И обнять.
Женщина протянула руки. Алена отшатнулась.
– Не бойся!
И тогда Алена решилась. Она еще сильнее потянулась навстречу молодой Алене – и обняла ее сначала за плечи, и они обе встали, потом Алена придвинулась ближе. Молодая Алена обхватила ее за шею. Они соприкоснулись лицами. У Алены захватило дух. Чем крепче обнимались, тем пустее, воздушнее, горше становилось под руками, под грудью.

Лица женщины Алена не чувствовала под щекой.

Только легкий печной жар.

– Слышишь... Не плачь... Чаю еще хочешь?

И сама себе ответила:

– Хочу.

И оглянулась.

Молодая Алена стояла за ее спиной, ее волосы освободились из пучка и развились по плечам. Она беззвучно смеялась.

– Хочешь увидеть свою смерть? – просто спросила она.

И сама себе ответила:

– Хочу.

СНАЙПЕР

левая створка врат



Фреска первая. Огонь

(изображение языков пламени на Вратах)

Жизнь Алены до войны

Мой отец был из простой русской семьи, мать – из простой татарской семьи.

Обе семьи, и отца и матери, были бедные. Такие бедные, что часто денег на еду не хватало.

Когда деньги появлялись, меня – внучку – приглашали в гости. Бабушка Наталья жарила картошку на сале и готовила салат оливье. Бабушка Апа варила круглые беляши в кипящем масле. Я сама вылавливала половником беляши из чана. Бабка Апа что-то причитала надо мной по-татарски – я не понимала ни слова.

В школе я была сначала отличницей, потом стала троечницей. Мне как-то расхотелось учиться. Я устала слушать зверский, хищным шепотом, мат одноклассников за своей спиной и невнятное бубнение училок около грязно-зеленой классной доски с грязной и мокрой, дурно пахнущей тряпкой. А мела никогда не было, он всегда терялся, и его всегда искали.

После уроков мальчишки подстерегали девочек за школой, на пустыре, давали подножки, нападали, наваливались, пыхтели. Девчонки отбивались, орали.

Директорша, огромная и грузная, как стельная корова, кричала в коридоре о прелестях забытого раздельного обучения. Ее никто не слушал.

Однажды в школу привезли компьютеры. Их установили в кабинете информатики. Ученики позабавились ими всего неделю: ровно через неделю, ночью, к школе подогнали две фуры, парнишку-охранника бацнули по темени чем-то тяжелым и сволокли в подвал, компьютеры вынесли, погрузили в фуры и увезли. С директоршей-коровой стало плохо, вызывали «скорую». Завели уголовное дело. Воров не нашли.

Директорша наняла двух новых охранников, дюжих толстых мужиков, и купила им газовые пистолеты.

Я однажды к одному охраннику подошла. Потрогала пистолет пальцем. «Скажите, а он... и правда убить может?» Дядька захохотал и весь заколыхался. «У-ха-ха-ха! Ну, не насмерть повалит... может, подранит... а оглушит капитально, это да! Хочешь стакан сбить?»

Он повел меня в пустой класс на первом этаже. «А как же вы пост-то бросили?» – пробормотала я смущенно. «А, хер с ним! День, народу много, никто не посягнет! Если только Бармалей... у-у-у-у...» Мы вошли в класс, дядька взял из шкафа пустой стакан, поставил на тумбочку, отошел, прицелился. Раздался хлопок. Стакан стоял как стоял. Я засмеялась громко. Дядька тоже натужно заржал, сунул пистолет мне в руки. Я видела – ему было стыдно, что он не попал.

Я подняла пистолет. И сразу нажала там на что-то.

Бахнуло, хлопнуло гулко. Стакан разлетелся вдребезги.

«Мать твою, – сказал охранник злобно-восторженно, – как это ты так, а...»

Лапнул меня за плечи, за грудь. Стал к стенке притискивать.

А у меня в руках пистолет этот был. Я как размахнусь – и пистолетом этим ему прямо в рожу зазвездила. Под глаз. Он как заорет! Выпустил меня.

Я со страху бросила пистолет на пол. Он откатился в угол.

«Уродка...» – просвистел охранник. Его глаз быстро заплывал темным, лиловым. Я пулей вылетела из класса. Мне навстречу шла наша училка по физике, Анна Павлиновна. Ты чего такая красная вся, Лесина, спросила меня Павлиновна подозрительно. Я потупилась, волосы

пригладила. «Это я... из спортзала», – соврала. «А-а», – сказала Павлиновна, но я видела, что она не поверила.

Я едва окончила школу и из-под палки, под нажимом родителей, поступила в ПТУ. Там были грязные стены и красивые чугунные перила, и лестницы тоже чугунные. Когда я приходила туда на занятия, я поднималась по лестнице и украдкой гладила перила: они казались мне живыми существами, длинными черными чугунными крокодилами, они сторожили старый мрачный дом.

Снаружи училище было краснокирпичным, как кремлевские башни или солдатские казармы. Педагоги курили, орали на нас, учеников, в обеденный перерыв торопливо ели, доставая из замасленных газеток, пирожки с капустой, из баночек – салаты и творог: в училище не было ни буфета, ни столовой, а в ближайших кафешках продавали дорожные тухлые шницеля, кремовые пирожные, засиженные мухами, и жидкий кофе втридорога.

Я выучилась на фотохудожника. Диплом я защитила семью фотографиями. Мой дипломный цикл снимков назывался «Дети – наше будущее». Я ходила по городу с отцовым старым «Зенитом» и фотографировала улыбчивые рожицы разных детей. Дети с удовольствием позировали мне, если я их подговаривала сняться. Каких-то детей, конечно, снимала украдкой – они не видели меня, как я приседаю, целюсь, их щелкаю. Я сниму личико очередного ребенка, пленка закончится, я проявлю пленку в магазине – и смотрю, где я хорошо сняла, а где плохо.

И опять собираюсь и иду на улицу.

Как на рыбалку. Как на охоту.

И вот однажды, когда я моталась по городу и детей своих щелкала для диплома – что-то со мной такое произошло.

Это я уже потом поняла, что.

А тогда – ни черта не поняла.

Навожу объектив – снимаю. Навожу – снимаю. Навожу...

Вот отличная мордаха, подумала – и выхватила из толпы глазами румяное личико. Пацан лет пяти-шести. «Медведя лет пяти-шести учили, как себя вести...» – ни к селу ни к городу вспомнила я детские стишки, наводя объектив, налаживая выдержку.

Пацан стоял около парапета набережной и сосредоточенно, деревянной палочкой, ел мороженое. Розовое мороженое. В вафельном рожке.

Снизу рожок протек, и растаявшее мороженое капало дитенку на рубашку, белые капли ползли по животу, плюхались на башмачки. Он ел. На румянном, как персик, личике было написано неизъяснимое удовольствие.

Я навела объектив. Выдержка была что надо.

Прицелилась...

...и выстрелила.

Я выстрелила, и я попала сразу. Ребенок раскинул ручки в стороны, будто пытался уцепиться за воздух. Будто хотел ухватиться за то, что исчезало, таяло с каждой секундой, как это розовое мороженое. Очень сладкое. Очень дорогое. Единственное.

Ребенок стал падать, и я увидела, как рот его раззявился в крике, но крика я не услышала. Я вообще ничего не слышала – оглохла. Уши будто мороженым залепило. По груди, по животу падающего мальчика ползло яркое, красное, темно-красное. Мороженое внезапно стало густо-вишневым. И горьким. Очень горьким. Соленым.

Я закусила губу. По подбородку поползло теплое, тоже соленое.

Мальчик уже упал на землю. Он все раскрывал рот в беззвучном крике. Дергал ручками. Сучил ножонками на асфальте. Нет, это был не асфальт, а странные белые, острые камни, выветренные, дикие. Как кости.

Я попала, я попала, шептала я себе тоже беззвучно. Я подстрелила его метко, наповал. Как птицу. Как дичь. Мальчика. Ребенка. Чьего-то сына. Чужую жизнь. Я отняла то, что не мной было рождено. Стояла, наблюдая дело рук своих. И вся покрывалась липким, как мороженое, холодным потом. Кошмар. Это кошмар. Он сейчас кончится. Сейчас. Сейчас. Надо только отбросить прочь винтовку. И больше не смотреть в прицел. Ну же. Ну!

И я с силой швырнула винтовку, тяжелую черную «моську», вбок.

И сама упала около нее.

И все кончилось. Все. Навсегда.

– Тетя, тетя, вставайте! Вставайте!

Я разлепила глаза. Глаза тоже залепили мороженым.

– Тетя, тетечка!

Пацан тянул меня за руку, чтобы я встала с тротуара. Его лапка была вся липкая от мороженого.

– Вы аппарат уронили!

Я, сидя на асфальте, оглянулась. Рядом лежал «Зенит». Я протянула занемевшую руку и подтащила аппарат к себе за ремешок.

– Спасибо, мальчик, – сказала я пацаненку слабым, как паутина, голосом, – я это... Я не нарочно. Я нечаянно. Больше не буду.

И улыбнулась ему изо всех сил, как могла, хотя губы мои прыгали.

И он улыбнулся мне в ответ, – передних двух зубиков, резцов, у него не было, – и вытер сладкие ладони о штаны.

Хорошие фотографии отобрала, напечатала, рамочки деревянные купила, в рамочки одела, педагогу принесла. Он очки на лоб вздел, долго глядел, потом тяжело вздохнул. «Ну что же, защищайся. Ничего тут не скажешь. Хорошие у тебя детишки».

ХОРОШИЕ У ТЕБЯ ДЕТИШКИ.

Я на всю жизнь запомнила эту фразу.

ХОРОШИЕ У ТЕБЯ ДЕТИШКИ. ХОРОШИЕ У ТЕБЯ ДЕТИШКИ.

За диплом мне поставили пять и присвоили квалификацию – художник-фотограф четвертой категории. Высшей, значит.

Мой педагог скромный был, за девчонками не ухаживал, хотя молодой был и симпатичный, и за мной тоже не бегал, да и я дурнушка была, по крайней мере, так все всегда считали, и я сама так считала. Но он очень добрый был. Хорошо ко мне относился. Ласково. Он меня работать и пристроил. Фотографом в глянцевый журнал.

Работы в журнале было много, сними то, сними это, отдохнуть особенно было некогда. Но отдыхать хотелось. И веселиться хотелось – я же молодая была.

А в редакции все были какие-то важные, дородные, надменные... и невеселые. Уже отвеселились свое. У них там даже праздники без шампанского отмечали, только тортик покупали к чаю. Говорили: у главного денег нет. А вскладчину всем жалко денег было, зарплаты выдавали маленькие, и их все время задерживали. Зато журнал выходил лаковый, лощеный, дорогой, цветной, яркий, как конфетка. И такой же обманный: развернешь, пролистнешь, ам – и сжевал, а голодным остался, есть-то нечего, один радужный воздух.

И вот меня ребята знакомые пригласили на танцы в речное училище. Приходи, говорят, Аленка, там пареньки такие славные, и еще приезжают из Питера морячки, из военно-морского

училища имени Фрунзе, веселье будет – закачаешься! Может, женишка подцепишь! Танцевать будем до упаду!

До упаду... до упаду...

Там я с ним и познакомилась. С Михаилом. С Мишкой.

Мама у меня когда-то давно все песню пела: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня...» Я запомнила эту мамину песню и нитку коралловых бус, красные кораллы лежали рядом с зеркалом, а мама брала бусы, надевала их на шею и пела про Мишку. А потом жмурилась, как кошка, и вздыхала: это старая песня, еще бабушкина песня.

Я в речное училище нарядилась: платье с бантом, бант в волосах. Сначала музыку разбитую ставили – диско, рок-н-ролл, современные песни всякие, мы тряслись, прыгали, потели, хохотали. А потом кому-то в голову пришло старинные танцы поставить. Полетела светлая музыка – будто сто бабочек запорхало к солнцу!

«А, это вальс, люблю, вперед», – весело сказал голос надо мной. Обнял меня морячок широкоплечий и закружил: давай, давай, ножками-то шевели! А вальс я танцевать ну вот несколько не умела. Морячку на ноги наступала. А он знай себе ведет – умело, крепко держит, крутит меня и кружит. Ну у меня и закружилась голова. Закружилась... закружилась...

Все хотела глаза вскинуть, посмотреть: с кем это я танцую? Но боялась вверх посмотреть: боялась – затошнит, прямо на штилеты парня вырвет.

Вальс закончился – еле дух перевела. На парня посмотрела. Он захохотал. Я тоже.

Потом, после танцев, меня ребята пригласили на вечеринку. У матросов нет вопросов, правда? Правда. У них есть только веселые ответы на все. На все-все-все! Спрашивай ты, девчонка. А я как воды в рот набрала. Только ем и пью, и все. Как с голодного края. А этот парень, Мишка, в бескозырке за столом сидит, все на меня смотрит, глаз не сводит. Смотрел-смотрел, смотрел-смотрел... и досмотрелся, конечно...

Селедку помню на обрывках газет. Вкусную, норвежскую селедку. Радужно куски блестят. Мы брали ее руками – вилка на всех не хватило.

Дешевое вино в стаканах помню. Такое вкусное вино! Очень сладкое, желтое.

Что еще было? Пирог с яблоками, домашний, кто-то принес... Я ела и неприлично вытирала рот рукой, ладонью...

Мишка сидел рядом со мной. Он пожимал мне рукой коленку. Он положит руку мне на колено – а мне становится страшно и хорошо, как на качелях.

Все это в общежитии было, мы сидели кто где – кто на стульях, кто на койках, кто на полу, подстелив под себя пацанские бушлаты, потому что стульев тоже не хватало. Ребята перемигивались. Мишка смотрел на меня, а они все смотрели на нас с Мишкой. Я видела это. Мне было стыдно. Я понимала, что я нравлюсь Мишке. Я была девочка и совсем не знала, как парень ухаживает за девчонкой и что девчонка должна при этом делать. Я просто как дура была, и все. И чтобы дурой не показаться, толкала себе в рот куски селедки, будто бы рвущийся наружу крик забивала внутрь.

Да, мне хотелось крикнуть тогда: ну что вы все смотрите на нас, сволочи!

И я не помню, как получилось так, что мы в комнате остались одни.

Парни и девки, и мои знакомые ребята, и морячки из Питера – все куда-то исчезли, как их не бывало. Мишка обнял меня. Я обняла его. Мы оба обнимались как-то неумело. Танцевал он лучше, чем обнимался.

Мы оба дрожали, очень боялись. И он боялся, и я боялась.

Когда он нашел губами мои губы, меня прострелил ток. Я забила под его руками и губами и куда-то провалилась.

Очнулась на койке, голая. Он раздел меня всю, пока я была без сознания.

Целовал мое тело, всю меня с головы до ног, и от ног опять поднимался к животу, к груди, и гладил мою грудь, нежно-нежно, и целовал раскрытый, как у галчонка, рот, и я тоже целовала

его – так нежно, как только могла. Мы оба исходили нежностью, испытанной впервые. Дрожали от нежности. Не знали, куда ее девать, нашу нежность, она переполняла нас, как вино... граненые стаканы... на грязном столе.

И когда парень раздвинул своими горячими ногами мои ноги, я с готовностью раскинула их – как створки взломанной перловицы, шире, еще шире, еще. Что у меня внутри? Как эта нежность, эта дрожь войдет внутрь меня? Что будет потом?

«Потом» превращалось в «сейчас». Горячее, острое настойчиво толкалось в меня, прокололо меня, и я закричала.

Я закричала страшно и громко от боли, и Мишка поцелуем закрыл мне рот. Его испуганное лицо нависало надо мной. Он поцеловал меня и прошептал мне в ухо:

– Не кричи... не кричи, услышат... здесь везде уши... комендантша придет...

Мы стали двигаться, неумело и нежно подаваться навстречу друг другу. Внутри меня плыла и билась боль, из меня лилась кровь и становилась нежностью. Я плакала. Мишка слизывал мои слезы и смеялся, и, кажется, плакал тоже. Выдохнул мне в лицо:

– У меня это... в первый раз...

И я пробормотала, обнимая его за горячую крепкую шею:

– И у меня... тоже...

Я не помню, как мы уснули.

Может, мы не спали совсем.

Наутро мы прибрали мусор, остатки еды. Я подержала в пальцах кусочек селедки, он разноцветно, розово переливался в лучах рассветного солнца. По подоконнику ползали сонные мухи.

– Съешь, съешь, – сказал Мишка, глядя на меня исподлобья. – Лишь бы ты попозже солененького не захотела.

Я вернула ему непонимающий взгляд.

Соленого я захотела. И очень скоро.

Не прошло и месяца, как я захотела соленого.

Мишка уехал к себе в Питер. Он обещал мне писать. Он смущенно обнимал и целовал меня на прощанье, но в этих поцелуях не было и привкуса тех, ночных, сумасшедше нежных. Он целовал меня будто напоказ, будто по обязанности: прощается с девушкой, и надо целоваться. Я стояла рядом с вагоном, туда-сюда по платформе бегали люди, и я понимала, что вот я первый раз в жизни провожаю в далекий путь своего парня, и, может, он из Питера вообще поплывет куда-нибудь в далекое море на военном корабле, и увидит роскошные города и дальние загадочные страны, а я – кто я такая? Да никто, серая мышь, чулочек с дыркой.

У меня и правда были колготки с дыркой, а на новые у меня не было денег. Все журнальные деньги на еду уходили.

Мишка уехал, и я захотела соленого.

Соленых помидор... соленых огурцов. Кильку, мойву соленую.

Я не понимала, что со мной. Все на вкус было иное. Запахи стали другими, они плыли и обволакивали, от иных тошнило, а иные были – лучше дыма от сандаловых палочек, просто сказочные, я никогда таких не нюхала. Иногда изнутри на меня напоззали волны. Будто волны большого моря. Огромного океана. Идет волна, за ней другая, и накрывают меня с головой, и я барахтаюсь, беспомощный щенок.

Одна моя подруга, прищурившись, пристально глядя на меня, бросила: «Да ты часом не беременна, мать? У тебя глаза другие стали».

Я долго смотрела на себя в зеркало. Глаза как глаза. Все такие же.

Нет, задумчивее стали. И больше, вроде бы расширились. Как у коровы.

Сначала я ждала.

Потом я не верила.

Потом у меня так стала кружиться голова, что я чуть не упала на проезжей части дороги, как-то странно посреди потока машин на одно колено завалилась, и шофер, едва не сбивший меня, ругался страшным матом.

Потом я чисто вымылась и, не сказав ничего родителям, пошла к доктору.

Адрес женской консультации я узнала у подруги. Она насмешливо хмыкнула: иди-иди, залетела, что ли. Я не поняла, что значит «залетела», такая дура была.

Отсидела очередь. Вошла в кабинет, впервые в жизни увидела высокое серебряное кресло. Подумала: я туда никогда не заберусь!

Забралась.

Думала, умру, когда врач меня осматривал. Думала: и что он там, внутри, видит, просто ведь шарит вслепую, как крот, а я вся красная от стыда тут враскоряку лежу...

«Второй месяц», – сказал врач, подслеповатый, и впрямь похожий на крота: кротинные усики, крохотные глазки. Я и фамилию его запомнила: доктор Хвалибов.

Второй месяц чего, глупо спросила я.

«Ребеночек у вас будет, деточка, ребеночек», – устало сказал доктор Хвалибов, с лязгом кинул в таз железный инструмент и медленно стянул резиновые перчатки, а я все лежала в серебряном кресле с задранными к небу ногами.

Мишка не написал мне ни строчки.

Первый сын

Плыву в соленом, теплом море. Я еще не знаю, что такое море. Вокруг меня теплая, нежная влага, я плыву в ней и кувыркаюсь, и мне хорошо.

Я – счастлив? Но ведь я еще не знаю, что такое счастье.

Теплая волна вздрагивает. Солено-сладкое, теплое море вокруг меня начинает дрожать, колыхаться и волноваться. Страх тащит меня за собой, засасывает в дикую черную воронку. Железное, страшное надвигается. Нашупывает меня. Ищет меня.

Оно ищет меня, чтобы меня убить. Я не знаю, что такое «убить». Я чувствую это.

Железная острая тьма рядом со мной. Абортцанг уже сдавил мой череп, и его нежные, крохотные косточки расплющились в кровавые осколки. Мой мозг стал мраком и прахом, а я все еще беззвучно кричу, я все еще живу, я все еще...

...где я? Надо всеми, кто убил меня.

Вижу, как меня внутри женщины, которая была моей матерью, размалывают, разрывают, раздирают. Как я становлюсь – кем, чем? Мясом. Плотью. Нежитью. Небылью. Я, человек, погиб от руки человека. Значит, мне лучше было бы не человеком быть?

Но я побыл в теплом, солено-нежном чреве ВСЕМ, что живет и дышит на земле.

Я был амебой. Червем. Ползуном-змеенышем. Юркой рыбой. Веселой и жадной акулой с раззявленной пастью. Смешным хвостатым динозавром, не умеющим убивать. Глазастым крокодилом. Саламандрой, что не горит в огне. Утконосом, несущим золотые яйца, – а их разбивал град и ветер, и я плакал золотыми слезами на камнях у моря. Летящей в прозрачном воздухе птицей с перепонками крыльев. Бегущим в чаще лосем. Сильным, как ветер, волком с оскалом желтых зубов. Красивой медленной коровой, еле тянущей с пастбища вымя со сладким молоком. Безумной, дергающейся в любовной пляске обезьяной.

Я был всем на живой и веселой земле, пока рос во чреве.

И, когда я стал человеком, меня нашли, приговорили и казнили.

Я видел моих палачей сверху. Они в белых, как снег, халатах. Они говорят, будто ругаются. В их руках стальные ножи и железные крючья. Моя мать, страшно задрав ноги, лежит в корявом железном кресле, и над ее головой горят огромные белые лампы. Моим палачам нужен свет, чтобы убить меня. Вслепую они меня в животе у моей матери не найдут.

Найдут! Уже нашли.

Почему я гляжу на свою казнь? Почему я вижу и слышу все, чего не видел и не слышал при жизни? Все обоняю и осезаю? Всех прощаю и люблю?

Не могу кричать – боль забивает горло ватой.

А может быть, это облака?

Ясные, прозрачные, медленные облака, голубые, розовые призраки; речной жемчуг и казенные, с черными печатями, больничные простыни, царские сапфиры и мерзкая кровавая вата, росистые алмазы и грязные военные бинты; они в небе вместе со мной, все вверх и вверх, к свету. Свет льется горячим вином. Я тону и захлебываюсь. Выше, выше. Там, наверху, слепой и мертвый, ты видишь все и живешь всегда.

Убила

– А-а-а-а!

Умираю.

Не хочу умирать. Но я умираю. Все-таки умираю. Это случилось со мной. А я так не верила в это.

– А-а-а-а-а!

Кричи не кричи – ничего не вернуть. Никогда.

Надо мной – лица. Я не сосчитаю уже, сколько их. Вроде бы сначала было одно. А теперь их много. Они склоняются надо мной, рты открываются, я слышу голоса, слышу крики. Причитают. Плачут. Кричат. Приказывают мне. Что? Не разберу. Они приказывают мне – жить?

Кто-то бьет меня по щекам. Бьет больно.

– Проснись! Хватит орать! Слышишь! Проснись!

– Больная Лесина, проснись!

– Давай, давай, продирай глаза...

И я раскрываю глаза.

Я снова живу.

Для чего? Зачем? Кто я такая?

Задыхаюсь. Понимаю: лежу на больничной койке. Гамаком прогибается панцирная сетка. Острое втыкается в руку. Колот в вену. Пьяная сладость бежит по телу. Слезы разом высыхают. Легкость мысли, хрусталь сознания. Кто я такая, после всего, что случилось со мной, чтобы жить?

Но я живу. Я дышу. Раз-два, раз-два. Дыхание – это шаг. Я марширую. Раз-два, раз-два. Дыши, дыши. Ты дышишь. Ты лежишь на казенной койке. Тебя лекарствами, как грубыми веревками, выдернули из тьмы.

Из какой тьмы? Надо вспомнить.

Вспоминаю. Понимаю. Закрываю глаза, чтобы умереть. Но умереть мне не дадут.

Я пришла сюда сама. Своими ногами. Направление держала в руке. Смяла его от волнения, скомкала. Потом расправляла, чуть не плакала: вдруг не возьмут, обидятся. В очереди на лестнице долго стояла. Такая страшная, большая очередь. Передо мной стояли женщины,

и за мной стояли женщины. Много женщин. Они стояли и держали в руках сумки и узелки. Все они молчали. Только у меня одной никакого узелка и сумки в руках не было. Бумажка от врача, и все. Темная лестница, обитая черной кожей дверь наверху. Дверь время от времени открывалась и впускала в свой проем женщин. Глотала их, и они исчезали. И опять молчание. Очередь двигалась. Поднималась все вверх и вверх по лестнице. А мне казалось: мы опускаемся все вниз и вниз.

Настала моя пора войти в дверь. Я толкнула ее, как толкают тяжелые ворота. Какая тугая пружина. Вошла. Неприветливые лица увидела над собой, в вышине, будто бы я стала опять маленькая, как в детстве, а эти тетки – большие, крупные, страшные. Живые копны. «Что же сменное белье с собой не взяла, дура?! Халатик хоть какой?!» Я опустила голову. Вот я уже и дура. Как здесь грубо разговаривают. Где я? В больнице? Но разве это больница?

Слышала голоса надо мной, будто издалека. «Иди в палату! Не сюда! Направо! Раздевайся! Диля, кинь ей халат! Вон, возьми! Ее – последнюю! Она заплатила? Да, заплатила! Квитанция вот! Что ей делаем? Какой наркоз? Диля, инструменты кипяченые мне! Быстро!» Я не понимала ни слова. Дрожала, зверек. Ватные ноги сами внесли меня в палату. Слепые глаза видели на койках бледные, плоские лица молчащих женщин. Молодые, постарше, старые. Всякие. Женщины лежали на койках смирно. «Как в военном лазарете», – подумала я, хоть в жизни не видала военного лазарета. Женщины не говорили ни слова. Молчали, как в могиле. И только голоса извне, из коридора, доносились. «Перова! Давай! Дементьева! Быстро! Татищева! В операционную! Да не босиком, а в тапочках, тапочки надень!» Здесь всех называют на «ты», как в школе, как в тюрьме.

Здесь все мы не женщины. Здесь мы все – скоты.

Скотина. Как коров, считают по головам. По кличке – выкликают. И врач, мясник, стоит с ножами в руках, и режет, режет. Режет наши потроха.

Замутило. Донесся басовитый крик: «Лесина! В операционную!»

Басит, как мужик, а ведь баба. Я подняла глаза, посмотрела в толстое усатое женское лицо. В воткнутых в толстую белую булку черных изюминах читалась ненависть к нам, брюхатым бабам. К скотине, что все идет и идет, а уже надоела, каждый день течет рекой, втекает в палату, и нет конца черной реке. Надо скотину потрошить. Чистка оплачена. Жизнь и смерть всегда стоят денег.

Я отвернула лицо от усатой медсестры.

Прошла по коридору, как по льду реку перешла.

Ступила в полынью светлой, сверкающей белым льдом операционной.

Влезла в высокое страшное кресло. Распялила, цыпленок табака, ноги.

Дрожала все сильнее, все невыносимей.

Ко мне стали прикасаться холодным железом.

Чужие грубые голоса висели надо мной, как серые петли. Быстро, грубо, отрезали слова от слов, как ножом хвост рыбы от туловища.

А дальше не помню. Дальше, наверное, я умерла.

Оживили, мастера оживлять. Зачем? Для жизни? Для какой?

– Я не хочу... Я не хотела... А-а-а!

Холодный, надменный голос инеем стынет, цедит холодные слова надо мной, в вышине:

– Проснулась, все в порядке. Здоровая молодая телка. Еще сто телят нарожает. Вкатите ей димедрол. Перестанет орать, уснет. В палате, кроме тебя, еще одиннадцать баб, дура голосистая!

А теперь я шепчу себе только одно: убила. Убила.

Я убила своего ребенка.

Лежу и плачу, и руки мои вцепляются в голую стену, в старый ковер на стене, когтят ковер, зверьи лапы. Хочу прогрызть ногтями стену. Кладка тяжела, и стена высока. Никогда не пробить ее – ни телом, ни сердцем. Что такое сердце? Теперь я это знаю. Жалкий красный комочек мяса, бьющийся бешено и быстро. Однажды биение остановится. И остановишься ты. Остановится мир вокруг тебя. Кружение прекратится. Надоедливый бешеный стук тоже.

Мать подходила ко мне, гладила меня по плечу. Отец запил горькую. Водка – такой дешевый наркотик, купил, выпил и забылся. Отец сидел на кухне, курил, ссыпал пепел прямо в тарелку, где лежала жареная куриная нога, наливал себе водки в кружку, как воды, и пил из кружки – залпом, обреченно. Я сидела вместе с ним на кухонном табурете, тоже наливала водки – в чайную чашку, стучала чашкой о кружку. «Не пей, дура, – устало говорил отец. – Козленочком станешь». Я неумело пила. Первая водка в жизни. Сначала противно, потом весело. Сперва водку выпью, потом холодным чаем запью. Лысая голова отца медно сверкала, будто начищенный медный котел.

Я пила водку с отцом на кухне, допилась до того, что ударила кулаком по столу и заорала пьяную песню. Это я-то, тихоня, мышка! Отец вырвал у меня из рук бутылку, кинул в угол. Мне показалось – это он мою голову оторвал и в угол бросил, и она упала со стуком и раскололась, спелое яблоко. «Не пей никогда больше. Это не для тебя. Это для больших взрослых дядек. Ты не отчаивайся. Не реви. Еще встретишь мужика хорошего. Еще родишь. Роди мне внука, доченька! Роди!»

Плакал, утыкая лицо в руку, лежащую волосатым бревном на кухонном столе.

Обе бабушки, Наталья и Апа, молились за мое здоровье. Одна ходила в Высоковскую церковь. Другая – в мечеть в Печерской слободе.

Я не понимала, как это – молиться разным богам. Разные церкви строить. Одному Богу – и другому Богу. А разве их может быть два? А кто такой Бог?

Я воображала Его суровым грозным дядькой с белой бородой, с огромными жесткими кулаками. Воздевает руки из-за облаков, грозит бедным людишкам. Если таким кулаком ударит – не встанешь.

Однажды ночка у меня была. Всем ночкам ночка. Я наплакалась, как обычно, наревелась власть, потом стала себя ругать: ну, дура, хватит хныкать, закрывай глазенки и спать.

Еще некрепко спала, дремала, когда рядом со мной зашуршало.

Зажигать свет не стала. Глядела во тьму.

Он стоял передо мной, босыми ногами на холодном полу, маленький, голый. Глаза раскрыты широко. Так смотрят напоследок. Или в первый раз.

– Сыночек...

Маленький мальчик. Только научился ходить. Еле держался на крохотных ножках. Засунул себе в рот большой палец.

Сосал палец. Смотрел на меня. Не призрачный. Настоящий. Вот я схожу с ума, и никто меня не остановит.

Я рывком села в кровати. Протянула к ребенку руки.

– Иди, – сказала я тихо, – иди ко мне.

Мальчик вынул палец изо рта и улыбнулся мне. Сверху два зуба, и снизу тоже. Похож на зайца.

По моим щекам текли потоки соленой, глупой воды.

– Как тебя зовут? Федя?

Младенчик молчал и улыбался.

– Петя?.. я же помню...

Мне показалось, он сейчас упадет. Я спустила ноги с кровати, чтобы, в случае чего, подхватить его на руки.

– Не Петя?.. Леша...

Мальчик завалился на бок, все-таки упал. Захныкал. Пополз к двери. Дверь спальни сама страшно распахнулась перед ним.

Он уполз в темноту, в черное ничто.

Я проспала четверо суток без просыпу.

Мать подходила ко мне, щупала мой лоб. Она потом говорила мне: «Я думала, ты уж не жилец».

Так бывает: р-раз – выключил кнопку; р-раз – повернул руль; р-раз – дернул вниз реле; р-раз – нажал на спусковой крючок. Стоп-кадр. Ты остался навек в этом кадре, а твой фотоаппарат полетел в пропасть. И никто, никто и никогда не увидит этого снимка.

Когда я проснулась, была другая жизнь.

В другой жизни надо было жить. И стать другой.

Я почувствовала себя зверем. Вышедшим из чащи, сильным, молодым и здоровым зверем, которому надо кусаться, драться, лаяться, рычать, сражаться, выть и вопить, и все – в радость, все – в праздник.

Я дико, зверино захотела праздника.

Праздники – мгновенное счастье земли, вечное счастье. Цветные ленты, гирлянды роз и гвоздик, карнавальные маски, пылающие факелы, тысячи огней, ночное небо, наряженные елки, букеты и конфеты! И подарки, подарки. Если праздника нет – надо его придумать, решила я! Сама подарю себе подарок, если никто не подарит!

Праздник сам нашел меня. Сам.

Отец отступился от меня. Он больше не пил водку и не поил меня.

Мать притихла. Молчала. Варила на кухне невкусную каждодневную еду: картошку, кашу, макаронны.

Мир серый и жухлый. Метельный февраль. За оттепелью набегали холода, поземка целовала ноги, вилась иступленно. Может, молила простить? За то, что злая такая?

А я все думала: что мне делать? Я убила в себе человека. Значит, я могу убивать.

Я могу убивать.

Я могу.

А что такое смерть? Она стоит денег? Да, стоит, отвечала я себе. Все на свете стоит денег.

Я была нищая, бедная. «Нищая, как церковная мышь», – говорила моя мать о соседке Кире Павловской. Разве мышь может быть нищей? Разве в церкви водятся мыши? Там же еды никакой нет. Нет, на Пасху, на Рождество и другие большие праздники в церковь старухи приносят еду разную – куличи, яйца, конфеты, печенье, да просто батоны зачем-то приносят, булки и сайки, и священник брызгает на все это святой водой, освящает. Ну и мыши, может, приходят. Им пожрать ведь тоже охота.

В глянцево-богатом журнале, где я делала фотографии красивых богатых людей, красивых богатых домов, красивых богатых вечеринок, мне платили жалкие, стыдные копейки. На эти деньги нельзя жить, но можно выжить. И я выживала. И я не хотела так жить.

Я убила своего ребенка, и я выжила, и я захотела быть богатой и счастливой.

Я шла по улице и вслух говорила себе: «Я убила своего ребенка, и я хочу быть богатой и счастливой», – и у меня было все мокрое лицо, это я так шла и плакала, все время, безостановочно. Наши соседи думали, что я сошла с ума, все время рыдаю, жалели мою мать,

советовали отвезти меня в деревню или положить в хорошую больницу. «Месяцок, другой – и девочку поправят, будет как новенькая». Новенькая игрушка. Новенькая куколка. А старенькую выбросим. На помойку.

«Я хочу быть богатой и счастливой...»

Перед глазами, в серой мгле улицы, заплесала огненная надпись: «ТИРЪ».

Почему с твердым знаком, подумала я, как в старой, убитой России, – и толкнула дверь от нечего делать, и вошла.

Перед мной были звери и птицы, и к каждой были прибиты белые кружки с черными точками. Я не знала, что это мишени. Я их видела в первый раз.

– Пострелять хочешь?

Толстый человек скалился, улыбка до ушей, протягивал мне винтовку.

– Пострелять? Хочу, – сказала я и взяла винтовку у него из рук. Тяжелая, как гирия. – А покажите мне, как!

– А ты не умеешь, что ли? – осклабился толстяк и захохотал, а не захохотал. – У-ха-ха-ха-ха! Ух-ха-ха-ха! Ну давай, так и быть, покажу!

Он вышел из-за стойки, подошел ко мне, втиснул винтовку плотнее мне в руки, приказал:

– Подними.

Я подняла винтовку.

– Теперь прицелься. Вот так!

Он показал, как надо прицелиться. Я сделала, как он показал.

– Видишь, вот мушка? Прищурься и поймай на мушку мишень. Поймала?!

Я кивнула.

– Руки пусть не дрожат!

Он слегка ударил меня по руке.

У меня руки не дрожали.

– Целишься хорошо?! Вон в того зайца, да?!

Он орал, как на пожаре.

– Хорошо. Я не глухая.

– Стреляй!

Я выстрелила.

И зайчик перевернулся и закачался, как маятник.

Толстяк захлопал в ладоши.

– А что врешь, что не умеешь! Врать надо складно! Приз в студию!

Он вынул из-под стойки огромную коробку с конфетами. Я видела такую коробку впервые в жизни.

Толстяк, как фокусник, раскрыл коробку. Я осторожно взяла конфету. Он кинул в рот одну, другую, третью, зажевал, зажмурился.

– Еще постреляешь? Понравилось?

– Понравилось, – сказала я. – А это пули настоящие?

– Пули-дуры, ха-ха! – сказал он.

Я прицелилась и выстрелила в картонного лося. Лось упал и закачался.

Я выстрелила в хитрую лисичку. Лисичка упала кверху лапками.

Я выстрелила в летящего журавля. Попала.

Я будто сошла с ума. Я прицеливалась и стреляла, прицеливалась и стреляла. И попадала и попадала. Во рту у меня скопилась горечь. Во рту и в животе. Мне казалось – я на охоте, и все эти игрушки – живые.

Когда я оторвалась от прицела, все лицо мое было залито слезами. И я вытерла лицо рукавом пальто, держа винтовку в руках, на весу.

Я расстреляла всех зверей в тире. Толстяк с восхищением смотрел на меня.

– Во девка! – восторженно громыхнул он. – А врет, что не умеет! Ты снайпер, что ли? Или у тебя глаз алмаз?

Я осторожно положила винтовку на стойку.

– По этому поводу надо коньячку, – толстяк вытащил из-под стойки початую бутылку. – Или ты не пьешь? Девочкам можно... по чуть-чуть, мама не заругается... конфеткой закусишь.

– Совсем немножко, – прошептала я.

Мы чокнулись рюмками, сделали по глотку, и порозовевший толстяк спросил:

– Ну, кроме шуток, девка, колись! Как тебя зовут?

– Алена.

– Стрелять где-нибудь училась?

– Нет.

– Алена, ты талант. Талантам... – он подмигнул, – надо помогать, бездарности пробьются сами. На тебе, девка, можно сделать отличные бабки.

– Что? – спросила я. – Что сделать?

– Деньги большие. И ты будешь не в накладе, и люди подзаработают. Давай сделаем так, – он наклонился, пошарил в кармане куртки, висящей рядом с ним на замызанной стене. – Я тебе адресочек дам. Человека одного. Он будет учить тебя бесплатно. Сто пудов, бесплатно. Ты ни копейки не будешь ему платить. Но уговор один. Делай все, что он скажет. Все-все-все, поняла?! И молчи. Молчи как рыба. О том, что я тебя к нему направил. Зато потом... потом...

Он облизнул губы. Когда он, клыкастый, улыбался во весь рот, он становился похож на жирного медведя.

– Чему он будет меня учить?

Коньяк медово, жарко разливался по телу. Он был намного лучше водки. И вкуснее.

– Стрелять учить, дура. Только не в картонных зверей. В людей.

И он всунул мне в руку визитку. У него были липкие пальцы и потная ладонь.

Я отдернула руку, и визитка упала на пол.

– Я не хочу в людей! – крикнула я. – Вы шутите!

Он поднял с пола визитку и злобно затолкал мне ее в карман.

– Дура, – сказал он хрипло. – Аленка-дуренка. Потом еще спасибо скажешь.

Вытащила эту визитку из кармана, когда мне стало совсем уже невмоготу.

Картонные звери в тире все качались передо мной, задрав ноги, лапы, топорща когти. Убитые птицы разевали клювы. Я набрала телефонный номер негнущейся рукой, будто бы сто часов простояла на морозе.

– Але? – сказала я. – Руслан? Можно с вами встретиться?

На том конце провода помолчали.

– За-чем?

Голос говорившего был надменный и властный, как у царя. Я хотела бросить трубку. Но не бросила.

– Я хочу научиться хорошо стрелять.

– Тэбя ка мне направил Кутэпав?

Я молчала.

– Так. Па-нятно. Приходи. Адрес на визитке.

– Когда?

– Кагда захочишь.

Я долго, долго слушала в трубке гудки. Целый час, наверное, слушала.

Темная комната. Золотой, далекий свет под потолком. Ей на звонок открыл дверь кто-то невидимый, она не разглядела в темноте прихожей, кто. Открыл и испарился. Она идет

медленно, медленно, нащупывая ногами половицы, ковры, мраморные плиты, снова грубые обшарпанные половицы. Роскошь и беднота, гламур и нищенский ковер со свалки, разве вы можете быть вместе, жить вместе? Можем. Наш мир на то и сработан, чтобы в нем уживалось несовместимое. Лед и пламень. Вода и огонь. Смерть и...

Она шагнула ногой в круг света. Боялась поднять глаза. На ее плечи ложатся руки, и они давят ее книзу. Стальная арматура. Выломанные из окон тюрьмы решетки. Почему такие железные пальцы? Он прожмет ей кожу до костей. Раздавит ее плечи. Так торговец на рынке давит мандарин в кулаке. И на снег льется сок. Льется кровь.

– Падними глаза. Нэ бойся.

Она поднимает глаза. Ничего не видит. Все мелькает, как в метели: щетина на подбородке – блеск бешеных белков – острый выблеск зубов-ножей – золото лысины – золото крохотной серьги в ухе – морщина, будто прорезанная острым лезвием в старом дереве – яблоко кадыка на шее, оно дрожит и ходит ходуном – хруст черной кожи, обтягивающей грудь и плечи – лоб летит, будто бульжник – прямо в тебя, прямо в тебя.

Мимо тебя. Сквозь тебя. Навылет.

И глаза в тебя летят – но не навылет: застревают в тебе, в твоём черепе, как две серебряных пули.

Она раскрывает губы. Задыхается. Выдыхает:

– Это вы Руслан? А почему у вас русское имя?

И он, блестя безумными синими белками глаз, подносит к уху с золотой серьгой волосатую смуглую руку:

– А это штобы тэбя лучше слышать, русская дэвочка. Ты ведь так тиха гаваришь.

Он смеется. Потом жестко режет:

– Руслан – эта нэ русскае имя. Эта мусульманскае имя. Па-няля?!

Детские стихи Алены

*У моей бабушки есть сад
Под названием «Семь дней подряд»!
Там растут розы красные,
И ромашки там растут,
Растут розы чайные,
Какой там уют!
Это не сад, а красивый рай,
Ты в нем никогда не умирай!*

Фреска вторая. Голубь (изображение белого голубя на Вратах)

Алена и винтовка

Я тряслась в грузовике по размытой дождем дороге и пыталась представить себе время. Ну, натурально, что такое время. Почему мы в нем живем. Почему оно не идет вспять. Наверное, каждый об этом думал.

– Эй, ты! Волосы какие у тебя густые! Давай постригу? У меня нож острый есть!

– Ха-га-а-а-а!

– Эй!

– Тебя как зовут, каралева? Язык ат-кусила, да?!

Лысый человек с серьгой в ухе встал во весь рост в громыхающем по каменистой ухабистой дороге кузове грузовика.

– Не «эй», а Алена, панятна?! – крикнул. – Панятна гаварю?!

Бойцы наклонили головы.

Кто-то что-то сказал на незнакомом языке.

– Алена Лесина! – как на переключке, крикнула я.

Солдаты смотрели на винтовку, что я, как ребенка, прижимала к груди.

Смерть – такое же искусство, как другие искусства. Такой же товар, как другие товары.

Смерть зря замалчивают люди, скрывают ее от самих себя. Каждый умрет, и каждый в ответе за свою смерть. На войне смерть продают и покупают. В нее тут играют в открытую. Не лукавят. Тот, кто должен умереть, все равно умрет. Просто он умрет от твоей руки.

Он хорошо поставил ей руку.

Он отлично выверил ей глаз.

Он сказал ей: ты снайпер от Бога, Алена. Ты убийца – от Бога. Аллах тебе предназначил убивать врагов. Метко стрелять. Бить наповал.

Он сказал ей: так, как ты, не стреляет никто. Это дар. Я видел такого стрелка только один раз. Это был наш, нохчи. Он мог без всякого оптического прицела, просто сощурившись, подстрелить бегущего через перевал оленя. Птицу в небе бил вслепую. Он и пуля – были одно. Ты тоже одно с пулей, Алена. Пуля летит – это уже смерть летит. Ты владеешь смертью. Ты талант.

Такой талант не должен пропадать, Алена, сказал он ей.

Она сначала смеялась, краской заливалась. Утирала ладонью пот над верхней губой. Потом внимательно слушала Руслана. Потом возмущалась, кричала: я не хочу убивать! Воюйте там сами! Потом опять замолкала. И слушала.

После стрельбища, где она сбила все мишени, все до одной, за рекордно короткое время, он по часам, по секундомеру засек, они оба пришли к Руслану домой. Руслан поставил чайник. Открыл бутылку сладкого кавказского вина. «Вы, девки, любите сладкое». Алена пожалала плечами, уселась с ногами на диван, листала цветной журнал с фотографиями красивой жизни. Фотографии. Ее учеба. Ее профессия. Где все это? Фотограф – стрелок: щелк – и сбил мгновение влет, щелк – и застрелил миг. Миг жизни. Чьей-то жизни. Застрелил – снял – украл – убил. Какая разница? Руслан давно уже давал ей деньги на жизнь, много денег, и она уволилась из своего глянцевого журнала. Главный редактор ругнулся ей в спину, когда она брала

расчет: «Еще придешь, на коленях стоять будешь! Такую работу еще поищешь!» Она ушла из той жизни, бедной и скучной, насовсем. И возвращаться ей туда уже нельзя было.

Она никогда не помогала Руслану у него дома готовить, накрывать на стол, он все делал сам. Он был здесь хозяин.

Они давно уже спали вместе, но хозяйкой она здесь не была.

– С кумкватами чай будэшъ?

– С чем, с чем?

– С кумкватами. С сушеными ман-даринами, вахх, нэграматный рэбенак.

– Буду.

Руслан поставил на стол поднос с чаем, печеньем, вялеными мандаринами, виноградом.

Открыл коробку шоколадных конфет.

– Сиротка, на канфэтку.

– Я не сиротка!

Алена бросила журнал на диван, возмущенно поморщилась, дернула плечами.

– Это анекдот, дэвачка. «Сиротка, на канфэтку. – Я нэ сиротка, у миня мама с папай есть, вон стоят! – Пиф-паф! Сиротка, на канфэтку». Ха-ха-а-а-а!

Алена взяла чашку в руки, стала греть руки о чашку.

– Хо-лад-на? Пэй, пэй. Са-грэишься. – Он разлил вино в бокалы. Алена следила, как льется, перевивается в воздухе винная кровавая струя. – И я выпью. – Стукнул легонько бокалом о ее бокал. – За тибя, рэ-бенак.

– Я не ребенок! – Алена подняла бокал и, прищурясь, посмотрела в вино на просвет.

– Ты рэ-бенак. Малакасоска. Но талантливый рэбенак. И сдэлаишь бальшие успэхи. Пад маим присмотрам. Выпьем.

Они подняли бокалы. Алена смотрела поверх бокала, как Руслан пьет – красиво, обоняя и смакуя хорошее вино, мелкими осторожными глотками.

Он поставил бокал на стол. Алена глядела, как дергается его кадык. Отвела взгляд. «Старый стол, дубовый, прекрасный, антикварный... и все на нем валяется вперемешку: фарфоровая посуда и раковины-рапаны, горские ножи, какие красивые... красиво расшиты чехлы, жемчугом... и какими-то синими камнями усажены, бирюзой, что ли... и прошлогодние американские газеты, что он, в том году в Штатах был, что ли?.. Старые какие бутерброды, сыр заплесневел, аж синий...» Она никогда не ела сыра с плесенью и думала, что с плесенью – это старый, испорченный, протухший сыр. «Часы, и уже не идут, старые... Чинить надо... И... что это... трусы?.. Женские трусики... с кружевами... фу-у-у... на столе...»

Он проследил за ее взглядом. Засмеялся.

– А эта тибя, – схватил упаковку с кружевными трусиками и бросил ей на колени через стол. – Па-дарак! Нравицца?!

У Алены залились краской лоб, лицо, шея.

– Нравится.

– Я рад. Я хачу с тобой па-гаварить, Алена.

Она снова взяла бокал, отпила вина. Ну и сладость. Сладкое такое, горло сахаром жжет.

– Я ха-ра-шо тибя выучил. Ты ат-мэнный стрелок. Ты... ты лучший снайпер в Рас-сии. Я нэ уверен, што кто-та в Рас-сии сейчас стрэляит лучше тибя.

– Брось.

– Я хачу, штобы ты па-ехала са мной работать в Ич-керрию. – Помолчал и сказал: – В Чичню.

На стол, на комнату, на них, сидящих за столом, ледяным водопадом рухнуло молчание.

Первым его нарушил Руслан.

– Што? – Она услышала в его голосе раздражение, закипающий гнев. – Што мал-чишь? Ведь все равно па-едишь. Мал-чи нэ мал-чи.

– Что я должна буду там делать?

Она прекрасно знала ответ.

– Работать. – Он усмехнулся. Ждал, когда она сама скажет это.

– Стрелять? – Она все-таки сказала это.

– Ты эта умэишь как никто.

Он нагло, грубо льстил ей.

Она поставила бокал с вином на старинный дубовый стол. Ее рука дрожала.

– А если... я не поеду?

– Бэс-па-лезна. Паедишь. Ище как паедишь. Твай сародичи там, у нас в гарах, убивают наших нохчи, без-за-щитных. Наших жэнщин... стариков... наших детей. Ты! Нэт, слушай. – Он схватил ее за плечи и повернул лицом к себе. Она отворачивала лицо, не хотела на него смотреть. – Ани – твай – сволачи русские – нас, маленький народ – у-би-ва-ют! Слышишь! У-би-ва-ют! А знаишь ли ты, па-чиму?!

Алена наконец-то подняла лицо и посмотрела Руслану в глаза. Хотела что-то крикнуть ему в лицо – и осеклась: в его глазах кипели черные слезы. Она прижала руку ко рту.

– Па-чиму?! Да па-таму, что твая страна – уродина! Твая страна – вал-чица! Хищная, страшная вал-чица! Ана грызет нас! Давит лапай! Кагтит! Душит нас! Нэ дает нам сва-боды! Дышать нэ дает! Ты! Слышишь! Эта твая страна! Сука! Вал-чица!

– Это и твоя страна тоже, – выдохнула Алена, глядя ему в глаза.

– Мая?! Ни-кагда ана нэ будит ма-ей! – Руслан оттолкнул Алену от себя, и она упала спиной на диван. – Ни-кагда эти ваши люди, ка-торые нэнавидят сваих предкав, бьют сваих атцов и ма-терей, плюют в лицо тем, кто их па-ра-дил... нэ будут маими братьями! Вы все пра-дались! Давно! Для вас всех главнае – дэнги! Дэнги... только дэнги! И пра Бога вашего вы все врите. Нэ верите вы в Бога! Падложный Он у вас! Пад-дельный! На-ри-сованный... на стенах храмав ваших! Церкви ваши как канфэтки... а в душах у вас Бога нэт! Нэт! Нэ-э-э-эт!

У Алены было совсем белое лицо.

– Что ты мне предлагаешь?

Голос сухой, бледный, ровный, мертвый.

– Я?! Стать такой же вал-чицей! Стрэ-лять! Стрэ-лять в эту волчью рожу! В красную пасть! Стрэ-лять – и у-би-вать! Ты дал-жна ас-калить зубы! И стрэлять, стрэ-лять! Ты па-ни-маишь, что ты дал-жна защитить слабого?! Вот чи-ла-век убивает рэ-бенка – ты што, мима прайдешь?! Да?! Мима?! Или убьешь того, кто рэбенка убивает?! А?! Што мал-чишь?! А?!

– Я убью того, кто убивает ребенка, – мертвыми губами сказала Алена.

– Пра-вильна!

Руслан махнул рукой и смахнул со стола бутылку. Она упала на пол с грохотом. Вино разлилось по полу. Лужа темной густой крови. Запахло сладко, приторно, будто разворошили улей с медом.

– Я зарычу, оскалю зубы и загрызу того, кто убивает ребенка.

Он не почувствовал иронии. Пнул пустую бутылку ногой.

– Жаль... ха-рошее вино. Но эта знак. Вино вылилась – эта ха-роший знак. Значит, пралется кровь. Жэртва будит принэсена. Ва имя.

– Во чье имя?

Алена смотрела на него огромными, пустыми глазами.

– Ва имя Аллаха. Все ва имя Аллаха. Все на зимле – ва имя Аллаха. – Он встал. Взял со стола горский нож. Вынул из чехла. Обнаженно, голо сверкнула сталь. Он поцеловал нож, приложил его ко лбу. – Клянусь Аллахам, я убью всех вас. Всех русских. Всех, кто... – Он шумно выдохнул, как пьяный. – Кто у-би-ва-ит ма-их рад-ных. Мой народ. Мой.

– Все врешь! – крикнула Алена. Вскочила с дивана, будто кто ее плеткой огрел. – Ты! Гад! Все врешь! Это твой народ убивает мой народ! Причем за деньги! За деньги! Весь ваш поганый исламский мир помогает вам, слышишь! Платит вам!

Руслан размахнулся и крепко ударил Алену по щеке. Она не удержалась на ногах, плашмя упала на пол. Он поставил ногу в сапоге на ее грудь, на горло. Алена захрипела. Он видел ужас в ее глазах.

– Ище ад-но слова пра дэнги – и ты пэрэстанишь дышать.

Пнул ее. Отошел к окну. Закурил.

Она снизу, с пола, смотрела на его голову, парящую в завитках сизого, синего дыма.

– Ты же сама любишь дэнги, – сказал уже спокойнее. – Дэнги – это то, што измэрят жизнь. Тваю жизнь, дура. Эта сан-ти-мэтр. Эта вэсы. Твая жизнь вэсит столько, сколько за нэе дают дэнег. – Помолчал. – Думай, дура. Я вэрбую тибя. Я дам тибе многа дэнег. Ты пад-пишишь кан-тракт. Будишь а-бэс-пэчена да кан-ца сваей вшивай жизни. Нэ бойся, тибя нэ убьют. Ты сама убьешь каго хочишь. – Хохотнул. Затянулся. Выпустил, как дракон из пасти, дым. – Я даю тибе врэмья па-думать. Хатя...

Подошел к ней, лежащей на полу. Подхватил под мышки. Поднял. Встряхнул.

– Хатя вал-чицы нэ могут думать. Ани могут толька кусаться. И все. Ну, укуси! Укуси!

Он подставил ей свою руку. Она смотрела на него, ее рот был чуть приоткрыт. Дышала тяжело.

– Кусай! Ну!

Она взяла его руку в зубы, как собака.

– Кусай!

«Сейчас возьмет со стола нож и всадит в меня».

Она сцепила зубы на его руке. С отчаянием, со странным наслаждением. «Вот тебе. На тебе. На».

Он не застонал. Только оскалился, на миг сам волком стал. Выдернул руку у нее из зубов. Ее рот в крови. Улыбнулась окровавленными губами. Он взял целлофан с дареными трусиками, разорвал упаковку зубами, вытер кружевами кровь с ладони. Вытер ее рот.

– Ма-ла-дец. Вал-чица. Будишь ва-евать.

Потом он вынул из холодильника другую бутылку, и они выпили, и он все зажимал кружевными трусиками рану на руке. Потом она залила ему рану йодом, перевязала ему руку бинтом, все как надо. Потом ели шоколад, виноград. Потом она подтирала шикарным махровым полотенцем винную лужу на полу. Потом он жарил мясо на каминной решетке, и они ели мясо и снова пили вино. Потом он содрал с нее все тряпки, положил на диван, потом на пол, истязал, вертел, как хотел, орал, кричал, хохотал от наслаждения. Алена подчинялась ему. Ее тело было странно мягкое, как вата. Ей казалось – даже кости мягкими стали. Она ничего не чувствовала, ничего. «Наверное, это от вина, мне пить нельзя совсем». Он устал, захрипел, лежал, голый, на голых половицах. Она вывернулась из-под него, голая подошла к окну. Оба они были голые... беззащитные. «В чем мать родила», – подумала горько, зло. «У каждого из нас были молодые матери, и они рожали нас когда-то... в муках, в слезах. А потом радовались. Чему? Радоваться – чему? Что такое человек? Кто такой – человек, если он делает в мире столько гадостей? Зачем человек рождается в мир? Разве он – хозяин мира?» За окном лил белое молоко зимний тоскливый рассвет. «Я накормлю их и напою, – подумала она про родителей, про бабок. – Они у меня будут сыты до конца, до конца... до конца их жизни. До смерти».

Она села на корточки. Прижала мокрое лицо к батарее. Тряслась, ревела беззвучно, заталкивала в рот кулак, чтобы воткнуть внутрь крик. Чтобы Руслан не проснулся.

И он не проснулся.

И она взяла с дивана плед, укрыла его, спящего беспмятно, лежащего навзничь на холодном полу, и сама легла рядом с ним, глядела в потолок с лепниной, дрожала, прижималась к горячему чужому телу, и слезы текли по лицу, текли.

Я не помню, как подписывала контракт. Зато хорошо помню, как меня учили.

Все слышу этот тягучий, насмешливый голос, он так и застрял у меня в ушах, меня от него тошнило: «Ты далжна так любить сваю винтовку, так любить... как сваего рэбенка, ты, слышишь, паняла?! Как рэбенка, павтари!»

«Как ребенка», – послушно, с отвращением повторяла я.

«Смотри сюда! Цэлься! Видишь?!»

Я старательно целилась. Мне надо было сбить движущуюся мишень.

«Благадари сваего Бога, что ты тут, в сваем городе радном, абучаишься! У мэня! А нэ палетела в Арабские Эмираты! В Пакистан! Пряма нэ ат-хадя ат кассы! Видишь мишень?!» – «Вижу», – холодно и беззвучно выдыхала я. «Стрэляй!»

Я медлила. Выжидала. Мне надо было выстрелить наверняка. За каждый промазанный выстрел меня били. Жестоко, плохо били. Я боялась, что останусь калеккой.

«Стрэля-а-ай!»

Я шептала неслышно, про себя: «Винтовочка моя, „мосенька“ моя, не подведи, ну помоги...» – вроде как молитву, и стреляла.

«Ат-лично, – сухо говорил ненавистный голос надо мной. – Ха-ра-шо работаишь. Я дам тебе сэгодня дэнег... атнисеешь ра-дителям. Па-ра-дуеешь стариков».

Я все еще смотрела вдаль. С брови на веко сползла капля пота. Щекотала кожу. Я прижмурила глаз. Кулаком вытерла его.

«Рэ-бе-начик мой. Ум-ни-ца».

Пошел ты в задницу со своими похвалами.

Потом мы пили коньяк. Он приучил меня пить коньяк. И заедать горьким шоколадом. И все гудел надо мной, гудел: люби свою винтовку, люби как мужчину, а лучше – как ребенка, трясись над ней, обожай ее, знай каждый ее вздрог, каждую выемку, каждую ложбинку, предугадывай ее взлеты и сбои, иначе ничего не выйдет у тебя на войне. Иначе – и не надейся, что снайпером станешь. Только мучиться зря будешь. И не только не заработаешь ничего, а еще и сама пулю в лоб получишь – ответную. От федерального снайпера, который тебя подстережет – и подстрелит, как утку на болоте.

Утку на болоте... утку...

Или от тебя, сволочи, думала я равнодушно, отпивая коньяк из широкого, круглого, как женская грудь, бокала.

Потом я шла домой, к отцу и матери, и на деньги, что давали мне за меткую стрельбу, покупала им хорошей, самой лучшей еды.

Я заходила в магазин, не улыбалась – скалилась, и ощущала, как мое тело наливается нахальством всемогущества. Я могу здесь все купить, говорила я себе, улыбалась и оглядывала полки, заваленные дорогущими продуктами.

Я брала железную корзинку и заходила внутрь царства еды. Я клала в корзину ананасы и курагу; ветчину и буженину; баночки с черной и красной икрой; лимоны и апельсины; семгу и осетрину; тушки копченых кур; шоколад и сыр со слезой и с голубой и зеленой плесенью; гранатовый сок и сок манго; креветки и бастурму. Когда корзина уже до полу оттягивала мне руку, я останавливалась. Подтаскивала корзину к кассе. Кассиры и продавцы смотрели на меня уважительно, даже подобострастно. Я была хорошо, модно одета, и я покупала мешок самых дорогих продуктов. Я в их глазах была богатой и всевластной.

Деньги. Когда у тебя деньги – ты можешь все.

Все или не все?!

«Пожалста, пожалста, вот пакетики, укладывайте покупки, – лебезила кассирша, умильно-масленными глазами ощупывая меня, – вам до машины донести? Андрюша, помоги!»

«У меня нет машины».

«А как же вы?..» Кассирша захлебывалась от удивления.

«Тачку сейчас поймаю».

Я подъезжала к дому на такси, волокла пакеты с едой в квартиру. Молча, мрачно вываливала на кухонный стол. Отец пронзительно смотрел на меня. Мать плакала, прижав руку ко рту.

«Откуда у тебя такие деньги, доченька?.. Не скажешь?..»

Не скажешь нам правду, вот что хотели спросить они.

«Заработала», – коротко отвечала я и уходила в свою комнату. А они копошились с этой едой на кухне. Ахали. Изумлялись. Мать опять плакала. Я бросалась ничком на кровать. Я часто спала в одежде, не раздеваясь, так уставала.

Потом они что-то готовили. Вкусно пахло. Дразнящие запахи гуляли, танцевали по квартире. Я слышала далекие голоса: «Аленка! Аленушка!.. Кушать!.. Обед на столе!.. Все готово!..»

Дальше я ничего не слышала. Я спала. Тяжелым, беспробудным сном. И мне ничего не снилось.

Он сам выбрал мне эту винтовку. Винтовку 7, 62 С. И. Мосина.

Старую, крепкую, смешную старушку мою. Безотказную.

Он мне и другие показывал. Новой конструкции.

Другие винтовки. Блеск масляного металла. Черно-стальные стволы и курки. Гладко отполированные приклады. Да, может быть, орудия, которые человек выдумал, чтобы убивать других людей, и должны быть именно такими – красивыми, изящными. Как черные диковинные птицы.

Их ему привезли домой. Целый ящик огромный. Он копался в них долго. Щупал. Прицеливался. Гладил, как живых. Выбрал эту, мою. Жестко сказал: старая, да, но надежная бабулька, не подведет.

Я стала учиться из нее стрелять. И сроднилась с ней, сжилась. Срослась просто.

Мать с дитем. Сиамские близнецы.

Привыкла я к ней быстро. Она слушалась меня.

Сама мне говорила – странным, еле слышным дрожанием, будто тепло от нее исходило, когда она четко, ясно видела цель. «Убьешь, – говорило это странное, страшное тепло, исходящее от ледяного металла, – сейчас попадешь». И я попадала.

И я научилась радоваться, когда поражала цель. Когда убивала.

Но не сразу. Не сразу, нет, не сразу.

Когда я в первый раз убила на войне человека – я помню, что со мной было.

Я выстрелила, попала, но не насмерть. Он дергался, кричал... жил. Я выстрелила еще раз. И убила его. И у меня к горлу подкатило горячее, обжигающее. Огненный ком. Тянул за собой все потроха, кишки.

На меня смотрели. Изучали. Надо мной уже почти хохотали.

Вокруг меня стояли мужики. Скалили зубы, звери.

И я зверь. Волчица.

Загнала рвотный шар внутрь. Улыбнулась. Оскалилась. Видела себя со стороны: ошалелая девчонка с черной винтовкой на белом снегу, с ней рядом боевики, она сбила цель, она попала, а над ней смеются. «Ты убила человека, – сказала я себе, – значит, убьешь и еще».

Мне стало страшно. Бесповоротно все стало.

У своих ног, внизу, на слежалом, как старая вата между оконными рамами, снегу, я увидела ребенка. Маленького мальчика. В мохнатой шубке.

Он стоял, задрав круглое беззубое личико ко мне, а потом повернулся, словно кто-то окликнул его, и я не могла рассмотреть его лицо.

Руки мои, державшие винтовку, разом ослабели. Гул и мужской гогот вокруг меня утих, отодвинулся, будто ушел вбок и вдаль. Я и ребенок у моих ног – мы оба стояли на снегу в крошечной тишине, стояли и смотрели друг на друга.

Я занесла руку с винтовкой, чтобы швырнуть ее на снег – и подхватить ребенка на руки, но он исчез. Так от первого выстрела не в мишень, а в человека я сошла с ума, это я так разума лишаюсь. Хуже, чем пьяная.

Мысли вспыхивали, бешеные светляки.

Мальчик у ног исчез, и я винтовку не отбросила.

– Сынок, – беззвучно сказала я неживыми губами, – я тебя узнала.

Руслан крикнул издевательски:

– Сэрдобольная, да? Да-била, да?! Штоб нэ мучился?! А што сразу нэ попала?

И я обернула к нему мертвое лицо.

– Э-эй! Але-оо-она! Иди сюда! Двигай к нам! У-жи-нать...

«Сволочи. Еще и есть могут».

Она врала себе: она тоже могла. Не могла, а еще как хотела. Голод подкатывал к горлу, голод разъедал кишки. Голод тряс ее и скручивал в жгут. Она дико, как зверь, хотела есть. «Как ты можешь есть после того, как ты убила. Ты!»

Встала. Рукой заслонила от солнца глаза. Из-под руки глядела: бородатые парни, чеченцы и наемники, едят, хрумкают с аппетитом, из котла что-то горячее в миски разливают; весело переговариваются меж собой, – а поодаль от варева, от котла со жратвой, под кустом, накрытые брезентом, лежат два трупа. Двух солдат потерял Руслан в этой перестрелке.

Как они могут жрать, когда тут мертвецы?! Но ведь едят. Поешь и ты.

Иначе умрешь.

Врешь! Не умрешь!

«А как это – умереть от голода? Легче, чем от пули? Или... больше?»

Алена сделала шаг, другой к костру, к котлу. Солдаты замахали руками: что время ведешь! Остынет!

– Остынет, – сказала сама себе Алена и медленно пошла к костру.

«Пусть сердце внутри у меня остынет. Плевала я на сердце. Нет его у меня. Нет. Нет и не было».

Она подошла к костру, и чеченцы, оборачивая грязные, бородатые, скалящиеся лица – они радовались горячему супу, концу боя, маленькой своей победе над неверными, – видели бескровное, будто больное лицо снайперши, перепачканные землей ее щеки и руки; видели, как тяжело ей даются шаги к костру – один, другой, третий, и вот уже надо криво улыбнуться, надо согнуть ноги в коленях, сесть у костра, взять в грязные дрожащие руки миску с чужим хлебом. Надо есть.

Жить.

Алена осторожно взяла из рук кашевара алюминиевую миску. Обожгла руки. Угнездила миску на коленях. От неведомой баланды пухлыми клубами поднимался пар. Алена опустила к миске голову. Грела над паром чужой еды холодное бесслезное лицо.

Рядом сидящий чеченец ткнул ее локтем в бок. Она снова криво улыбнулась.

– Ну как, русская прынца? – выкрикнул чеченец весело и резко прямо ей в ухо. – Давольна? Ба-евое крэ-щение, так у вас га-варят?!

Алена посмотрела прямо в его глаза слепыми глазами.

Пар, пар, перед глазами горячий пар. Пар и дым. Все дым, ужас. Ничего не отвечать. Только улыбаться. Только есть. Жрать, жрать.

– Што мал-чишь, а?! Язык ать-ела?! Руслан, она у тибя нэмая, да-а-а?!

Руслан с прихлюпом ел, втягивал красными губами из ложки похлебку. Занят был. Не достаивал солдата ответом. Потом утер обшлагом гимнастерки рот. Глаза вскинул.

– Нэ-мая, да. Нэмая рабыня лучше га-ва-рящей, запомни эта, Фархад.

Алена хлебывала обжигающее варево. Ее обожженные губы, два лоскутами грязной тряпки. Алюминиевая ложка лунно блестела. Гортанная речь скатывалась в мохнатый ком. Костер горел ярко. По боку котла грубо, громко застучал ложкой парень с жидкой, как у козла, бородежкой, что-то крикнул по-своему.

Есть, есть. Есть и жить. Потому что завтра тебя убьют.

Ты же убила. Убьют и тебя. Все очень просто.

Алена смотрела в миску – миска была почти пуста, уже просвечивало помятое серебристое дно. Она подняла голову, посмотрела на Руслана, на его красные губы – и, размахнувшись, через головы ржущих и жрущих солдат швырнула миску в костер. Встала.

– Я не рабыня.

Повернулась. Пошла.

Гортанный говор стих. Солдаты глядели ей в спину.

Алена шла и держала ложку в кулаке, крепко. Потом отбросила прочь. Ложка тускло, тупо звякнула о белые, как кости, камни.

«Всех перестреляю, если еще так скажут мне. Всех. Из своей „моськи“ всех уложу. И Руслана. Гады. Воины, мать их, Аллаха».

Ее всю трясло. Съеденная пища горячо разлилась по телу, как водка.

Подходя к дому, она услышала, как Руслан по-русски говорит кому-то из своих: «Нэ трогай ее, дэвка маладая, тяжило ей, она сэйчас далжна пабыть адна».

Алена пролежала всю ночь, проглядела в потолок. Руслан спал как убитый. Она не спала, просто глядела в потолок и ни о чем не думала.

Под утро прилетела мысль одна-единственная. Алена проговорила ее вслух.

– Я буду работать и не думать ни о чем. Я буду стрелять. Мое дело – стрелять. Я это умею лучше всего. Человек должен на земле делать то, что он умеет лучше всего. И все. И точка.

Руслан проснулся от ее голоса.

– Што? – сказал сонно, вяло, разлепляя склеенные сном губы. – Што?

Когда Руслан опять захрапел, она резко повернулась на живот. Забила себе лицо, глаза, горло подушкой. Прокусила ее. Перья полезли в нос, в рот. И эту птицу тоже убили и ощипали, чтобы тебе, душечка Алена, слаще спалось.

Плата за плату

Я плохо помню, как мы с Русланом ехали на Кавказ. Помню затхлый дух плацкартного вагона, жареную курицу – Руслан ломал ее пальцами, ел, облизывая каждый палец, мне это таким противным казалось, – а я ела помидоры, маленькие и красные, и еще огурцы и крутые яйца. Ха-ха, крутые яйца, как это смешно звучит. Вроде как: конь с яйцами. Помню – за окном летели деревья, поля, дома, станции, полустанки. Летела моя бедная страна, и мы все ближе к югу подбирались. Все теплее становилось на перронах. Тетки на платформах продавали вареных раков, копченую рыбу, горячую картошку. В том поезде я научилась курить. От тоски. Руслан курил в тамбуре, я стояла рядом с ним, ну и закурить попросила. Он заржал, как жеребец, и всунул мне в рот сигарету; я закашлялась. Он стукнул меня кулаком по спине,

сигарета вылетела у меня из зубов, шмякнулась о железный пол тамбура. «Што, дура мая? Пакурить за-ха-тела? Лехкия всё черныя сделать хочишь?» Я сама вынула у него из пачки сигарету, прикурила у попутчика. Слезы текли из глаз, дым втекал в грудь, я курила и нагло глядела Руслану в глаза. Докурив сигарету, я придавила окурочок подошвой берца, хлопнула дверь в тамбур и пошла к своему месту.

Верхняя у меня была полка, помню.

Влезла. Прямо в берцах. Голова туманилась. Веселье охватило меня. Мне вдруг стало все нипочем.

Оружие наше, и моя винтовка в том числе, ехало другой дорогой, с другими людьми, в другом транспорте.

Чужая смерть ехала другой дорогой.

Ночью поезд остановился, долго стоял. «Краснодар-Главный!» – тягуче кричала проводница. Я свесила ноги с полки. Пялилась в окно сонно. В вагон входили люди в пятнистых таких рубахах, штанах. Бритые. Солдаты. Русские солдаты, и ехали на смерть свою. На смерть в Чечне. А я ехала в Чечню, чтобы их, молоденьких солдатиков, убивать.

Руслан проснулся и снизу настороженно глядел на меня. «Чего хочишь? Чего вска-чила?» В туалет, прошипела я тихо, как змея. Но не прыгала вниз, сидела на полке. Солдаты все шли и шли в вагон. Все шли и шли. Одна жизнь. Другая. Третья. Десятая. Двадцатая. Все идут и идут. Я провожала бритые головы, темные и светлые, глазами.

Они все шли и шли, все входили в вагон, молча шли по вагону, пропадая, рассасываясь, исчезая, а я закинула ноги в берцах опять на полку, прикрылась тощим вагонным одеялом и закрыла глаза.

«Што же ты в туалет нэ идешь?» Издевка звучала в гортанном тихом голосе.

«Расхотела. Хотела и расхотела».

Солдатские сапоги топали по вагонному полу. Я представила себе, что я, это я одна должна их всех убить, этих ребят. И все поплыло перед глазами.

На войне сначала страшно. Очень страшно. Меня тошнило от страха, когда начинался бой, и все вокруг грохотало, разрывалось, взлетало, рушилось. Меня тошнило от близости смерти. Я забивалась между камнями, плотно прижималась к земле, будто земля могла расступиться и укрыть в себе – меня.

А потом, немного времени спустя, наступило странное равнодушие.

Я стала плевать на смерть. Плевала я на тебя, дрянь такая, говорила я смерти. И усмеялась, и чистила свою винтовку, «моську» свою, и перекидывалась с бородачатыми нохчи Руслана всякими разными словечками, и даже смеялась, если что-то смешное мне говорили.

И странные вещи со мной на войне начали твориться.

Я убью человека – и тут же, на другой день, отдам другому, живому, что-то свое, с себя, родное, кровное. Вроде как отработаю.

Убила одного офицера – подстрелила, как птицу, влет – а по рельсам мчался поезд, а на рельсах мальчишка маленький лежал, упал, зацепился носком башмака и растянулся поперек полотна, – а поезд уже гудел вовсю, и меня как шатнуло, я выхватила мальчишку из-под колес тепловоза, и горячая волна воздуха ударила меня в грудь, и с папаном на руках я упала на щебенку и покатила под откос, а мальчишка верещал как резаный, и я зажимала ему рот рукой, чтобы этот щенячий визг не рассердил боевиков: нас обоих с ним могли ухлопать за милую душу.

Скатились с откоса. Отдышались. Я обнимала его. Он был такой маленький и теплый! Года три, должно быть. Тебя как зовут, спросила я. Арсен, ответил он. Кавказец, подумала я.

Тебя русская тетка спасла. А смерть-то рядом просвистала. Мальчишку у меня из рук выхватили, куда-то по чужим рукам, как кирпич на стройке, передали. Я больше его не увидела.

Или вот так было. Свалила того, на кого Руслан указал. Ночью, крыши дальнего села под Луной еле просматривались, серебрились от инея. Он, цель моя, был в камуфляже, на крышу залез, издали хорошо было видно пеструю одежку на серебряном, белом фоне. Я и долбанула из «моськи», сразу попала. Руслан меня по плечу похлопал. «Ха-рошая у миня ученица, хвалю». А утром побежала я умываться на горную реку, автомат с собой на всякий случай прихватила: если что, отобьюсь! – разделась догола – эх, думаю, сейчас окунусь, хоть какая-нибудь свежая, чистая радость жизни в черном аду! – а на берегу – глядь – старуха. И в городском платье, в таком... хорошем, не чеченском, далеком от этих мест платье. Стоит старуха и смотрит вдаль. И вдруг камень у нее под ногой поехал. А сама – грузная. И старуха эта, морщинистая глыбина, раз! – и обрушилась в реку... а там буруны, острые скалы. Несет бабу! Крутит! А я голая, в чем мама родила. В реку бросаюсь и плыву. Старуху спасаю! Плыву, кручусь сама, как в колесе! Мощная речка оказалась! Но я бабу-то настигла! За плечи схватила. И тащу к берегу! Задыхаюсь, воду глотаю, отплеываюсь... Плыву... Вытащила...

«Ты кто такая?»

Хороший русский язык, чистый. Понятно – оттуда. Из России-матушки.

«Не видишь – русалка!» И хохочу, ржу как лошадь. Ежусь: холодно. Одежка на берегу. И что самое ужасное – оружие-то тоже там, вместе с одежкой. «Давай, бабушка, скорее! Туда!» Бежим с ней по берегу. Она тяжелая, с ноги на ногу, как утка, переваливается. Задыхается, машина древняя. С подола красивого платья вода льется. Наконец прибежали. Я судорожно в трусы прыгаю, в портки влезаю, в рубаху. зуб на зуб не попадает. Автомат рядом со шмотками валяется. Старуха на автомат смотрит ледяными глазами. Кричу: «Я тебя спасла, дура!» И мысль, как молния: я ее спасла, а других убила. Так кто же, кто я тогда такая?!

А старуха стоит, вся мокрой юбкой облепленная. Ноги как столбы. Подбородок сморщенный колыхается студнем. Стоит и плачет от радости: жива.

И я к ней бросаюсь, как к матери, и целую. Лицо изморщенное поцелуями покрываю.

Я матери своей давно не писала.

И туда, в свой город на холодной широкой реке, давно не приезжала.

Я – воевала. Деньги зарабатывала. Чтобы привезти домой и всех наших, маму и отца, и бабушку Апу и бабушку Наташу, напоить-накормить – на несколько лет вперед хотя бы деньгами завалить, чтоб не мучились завтрашним днем, не вздыхали тяжело над кошельком.

Я воевала, я работала, и некогда мне было думать о матери. Я ее будто из жизни – временно – вычеркнула. А вот ее, незнакомую старуху, как мать целую.

«Ты к кому сюда приехала?» – спрашиваю. И сама реву. А она обнимает меня, цепляется за меня руками толстыми, плачет и – взхлеб, всхлипывая: «К внуку. К внуку приехала. Внук у меня здесь... солдат. Повидать его приехала. Пока... не убили». Как спокойно, просто, сквозь слезы, она это сказала: «пока не убили».

И я села на камни перед ее ногами. И гляжу на нее снизу вверх.

«Мамаша! – говорю ей. – Уезжай обратно! Тебя здесь как птичку подстрелят! Ведь у тебя еще внуки есть?!»

«Есть, – кивает. – Есть, а как же!»

Я шла с ней, обнявшись, по берегу реки.

Проводила ее до речного поворота. Толкнула вперед: иди, мне дальше нельзя. Повернулась и пошла прочь. И я спиной почувала: она обернулась, посмотрела мне в спину, как я иду, и поняла, кто я такая.

Придя в лагерь, я закатила истерику. Билась, плакала, царапала лицо, грудь ногтями и кричала: не хочу! Больше не хочу! Оставьте мне мою жизнь!

«И-и-и-и... и-и-и-и...» – пело эхо в горах.

«Отпустите меня! – кричала я. – Домой! К маме! К папе! К бабушке Наташе! К бабе Апе! Пустите! Больше не могу!» Подошел Руслан. Я думала, он залепит мне пощечину, а он устало опустил на землю рядом со мной, обнял меня за плечи и что-то стал мне шептать на ухо, я сначала не поняла, а потом догадалась – он шепчет мне на ухо по-чеченски. Что-то ласковое... успокаивающее. Красивое что-то шепчет. И я стала успокаиваться, перестала кричать, стала слушать этот его гортанный, тихий шепот, – и мне казалось, я уже все понимаю, эту его речь, эти красивые, как музыка, чеченские слова, вот я все понимаю, я уже их люблю, я уже...

Я уснула у Руслана на руках, на плече. И ночью проснулась – моя голова у него на плече. И щека его горячая, в колючей щетине, – на моей щеке. И серьга его холодит мне шею.

Страх Алены

О смерти на войне думаешь каждый день. Каждую минуту. И каждую секунду.

Дня не проходит. Часа не проходит. Минуты, может быть, не проходит, чтобы ты – о ней – не думал.

И я тоже думала. Все время думала о ней.

Мне только казалось, что я о ней перестаю думать. На самом деле я все время ощущала этот кровоток жуткий: она – рядом, и ты от нее – не отвертишься.

Как это ты – не отвертишься? Кто-то другой – умрет, да. Но ты, ты не должна. Не можешь. Тебя минует пуля. Снаряд ляжет поодаль. Вон у той горы. У той разрушенной башни. А не здесь, не близко к тебе. В тебя не попадут. В другого – да. А ты? Ты бессмертная, что ли, такая сахарная, такая алмазная?!

Люди на войне только притворяются, что они живут: стреляют, на машинах ездят, пьют-едят, солено, матерно шутят, орут, кричат друг на друга, приказывают друг другу. Это все притворство.

На самом деле они все мертвы.

Они все – уже мертвецы на войне.

Я тоже думала о смерти, как и все на войне. Привыкла, конечно, к этим мыслям. Это даже не мысли были. Чувства. Чувство смерти – очень сильное чувство, необоримое. Когда ее чувствуешь все время, и даже не то чтобы рядом, а просто, прямо в себе – оно в тебя врастает, становится частью тебя. И вроде бы плевым таким, надоедным, привычным становится. Противным до сбева. И ничем его из себя не вытравить. Оно навек твоё.

«Мы все носим в сэбэ сваю смерть, как курица яйцо, – сказал мне Руслан, когда я ему попыталась об этой гадости внутри себя сказать. – У вас, па-русски, живот – эта жизнь, ведь так? Нэ была бы смерти, дарагая, нэ была бы жизни. Мы и смерть – эта адно. Панятна? Дура». Он ударил меня по носу, щелкнул пальцами; небожно, но противно.

Я больше не заговаривала с ним об этом.

...страх, сначала страх.

Дикий, сумасшедший страх.

Страх выстрела. Страх: подстрелят, как медвежонка. Страх ступить на мину. Страх умереть – внезапно, не поняв, что с тобой случилось.

Но в страхе не будешь жить все время.

Я хлебала суп этот вечный у них из котла, эту гадкую, вкуса не ощущала, похлебку, ложку ко рту подносила и думала: о, е-мое, вот мы тут сейчас едим, а снаряд-то – раз! – и ляжет прямехонько в котел. Ха! Смерть! А пошла она, смерть. Все жрать хотят. И вот едят. И я ем

вместе с солдатами; с чужим злым народом – я, живая стрелялка, хорошо работаю, шмаляю будь здоров. Хорошо меня Руслан научил!

А может, если ты такая меткая, то ты...

Ложка медленно плывет ко рту. Рука железная.

...то ты возьмешь да и убьешь свою смерть?!

«О-о, дура. Руслан бы сказал: такой русской дуры только поискать».

Хлебаю, втягиваю горячее пойло. Человек, он живой, он жрать три раза в день должен, а мы – от силы два успеваем, а то и один. У кого-то запасы есть, в мешках прячут, в рюкзаках. Меня Руслан пытается подкармливать. Я не ем его еду. «Ты што, па-стишься, па-русски, ха-а-а-а!» Он всерьез думает, что я молюсь своему Богу. Ведь они все молятся. Все совершают, как это у них, намаз. Лицом к востоку – и валяй. Гр-гр-гр по-своему – только звуки булькают в жарком горле, как вода в горной холодной реке. Все холодное. Снег в горах холодный. Зима холодная. Вершины холодные. Война холодная. Горе холодное.

А смерть – она холодная, или нет?

Смерть – она никакая. Она – дрянь, и все. И больше ничего.

ТАМ ничего нет. ТАМ мрак и дерьмо одно. Дерьмо, это еще хорошо бы, дерьмо живое и воняет. Отброс, да, но ведь жизнь. А ТАМ – ну ничего, ни вдоха, ни света, ни стона; даже и тьмы, наверное, нет. Тьма – это тоже что-то... ну, темное, ночное; шевелится она, тьма; это тоже жизнь.

Что же ТАМ?

А ничего. Просто – пустота.

Мертвая пустота.

Осознать трудно. Невозможно. Вот ты был – и вот тебя нет. Где ты?

– Але-о-о-она! Па-чисть винтовку сваю! Работа предста-ит.

Мразь. Гад. Кричит. Не видит, что я ем.

Я подношу ложку ко рту. Руслан подходит и глядит, как я ем.

– Сейчас. Дай пожрать.

Он делает шаг ко мне. Локтем выбивает у меня из руки ложку, и горячая похлебка выплескивается мне на подбородок, на гимнастерку. Ложка летит на камни. Звон алюминия. Ржанье солдат.

– Кан-чай рэста-ран, снайпер!

– Ловка он ей...

– Утрись...

Мне суют в руки тряпку. Жирную, грязную. Кусок портянки, что ли? Пахнет дико. Опять ржанье, гогот. Я тряпку не беру. Не слушаю смешки. Встаю, будто пуля в меня попала. Моя рука опережает меня и мой страх.

Я даю пощечину Руслану. Ты знаешь, солдат Алена, что за это в армии бывает?

Минуту он смотрит тебе в глаза. А ты в это время вытираешь подбородок. От жира, от разваренного лука. Рукавом гимнастерки вытираешь.

И тоже смотришь ему в глаза. Нагло, смело.

– О-о, – говорит он. Сизая щека его алеет. – О-о!

А в его глазах я читаю: «Да ты ничего не боишься, девка! Ты, может, и смерти не боишься?»

Я поворачиваюсь спиной к костру.

Глазами ему отвечаю: «Да, смерти не боюсь. И тебя не боюсь. Устала бояться. Все равно».

– Ты предлагал мне сменить винтовку, – говорю я Руслану. – Не меняй. Я к этой привыкла.

Улыбаюсь. Иду прочь.

Моя спина под гимнастеркой горит от его пронзительного, ненавидящего взгляда.

Песня Алены

Здесь никого не было. Она была здесь одна.

Сидела на краю обрыва. Кругом, куда хватало глаз, расстилались горы. Каменное, бело-черное, грязно-желтое море, и оно застыло. Навек.

Она любила сидеть здесь одна, скрывшись от солдат.

Не любила сидеть с боевиками, разделять их пьяное веселье. Руслан привез в канистре из госпиталя, что разбомбили позавчера, чистый спирт. Чеченцы и наемники разбавляли спирт водой, усердно пили. У Руслана много было наемников – едва ли не половина от его солдат-сородичей. Ребята из Пакистана. Парни из Турции. Из нашей Средней Азии. Наверное, Алена была тут одна из России. Она не знала.

Она не знала языка, на котором разговаривали солдаты. Может быть, это был чеченский язык. Или какой другой кавказский. Она не вникала. Порой слышалась мяукающая английская речь. По-русски только с ней говорили.

Мороз начинал царапать щеки, прожигать каленым железом плечи, ноги. Крепкий мороз. А она-то думала – здесь пальмы и мандарины. Дура. Такой же точно мороз, как в России. Или в Сибири.

Она никогда не была в Сибири. Но сибирский мороз... это представлялось так красиво. Как Новый год и дед Мороз.

Солдаты Руслана ужинали, горланили песни и пили разбавленный спирт, а она ушла в такое место, где ее никто не видел – и она никого не видела, не слышала. Мороз, пускай. Наплевать. Она одна.

Сидела на голой земле над пропастью, на самом краю. Тихо, вслух сказала себе: поздно. Все кончено. Все. И жизнь твоя кончена тоже. И ты с этой блядской войны не вернешься. Ну и хорошо. Может, к лучшему.

Небо наливалось грязно-лиловым, сумерачным светом. Вершины гор мерцали, сахарные головы. Из трубы сакли легко, прощально вился кудрявый дым. Доносился запах жареного мяса.

Она оглядела безмолвные, равнодушные к людской драке, морозные горы. Вздохнула глубоко. И – запела.

Она никогда не пела эту песню. Но странные, будто старинные, незапамятные слова налетали с гор диким ветром, приходили сами собой и медленно, тягуче текли из осипшей на морозе глотки, как горький горский мед.

– А, как на войну побрали парней молодых...

Да не счесть вовеки, ввеки новобранцев, их...

Ах вы парни, парни юны... как вы молоды...

А вас смертушка не спросит, не подаст воды...

А как впереди-то войска – молодой сынок:

Ликом, ликом чист и светел... росточком высок...

Она передохнула. Вдыхала холодный воздух, ветер. Песня вытекала кровью из нее, выходила наружу, на свободу, из тюрьмы жестких, юных железных ребер.

Не было времени удивляться странным словам. Может, ей их принес холодный ветер.

И, может, ветер пел их вместо нее.

А ей казалось – они из глотки рвутся.

*– Да как подбегу, на шею брошусь ему я:
Милый, милый мой сыночек, не покинь меня!..
Он лицо свое родное... ко мне обернул..
Глубоко-глубоко в глаза мне, до дна заглянул..
Ах ты, матушка родима... не плачь, не рыдай..
Если я уйду навеки – то в Господень Рай..
А в Раю – поют павлины... да цветут цветы..
Там же, матушка родная, будешь со мной ты..
Ой, родимый мой сыночек!.. не хочу я в Рай..
Ты на той войне горячей – ой, не умирай..
Ой ты матушка родима... матушка моя..
Что ж для смертушки горячей родила меня..
Ты прости, прости, сыночек... то твоя судьба..
Что для смертушки горячей родила тебя...*

Оборвала песню. Слова, приходящие ниоткуда, снова ушли в никуда.

Алена и монахи

На другое утро она попросилась у Руслана отлучиться на сутки.

Не стреляли. Тишина висела в воздухе медленно летящим снеговым флагом.

Она поехала – на чеченской попутке, на старом УАЗике, на дороге поймала, руку потянула и остановила, – в заброшенный в горах старый православный монастырь.

Ей сказали: в монастыре живут три монаха, стены почти развалились, там и храмы сохранились, и кельи в пещерах. На праздники верующий народ со всех гор туда движется. Даже сейчас тащится, во время войны. И пули им нипочем... молельникам.

Перед разрушенными, похожими на гнилые зубы, кирпичными воротами Алена глубже надвинула пилотку на лоб и смущенно перекрестилась, будто клюнула себя щепотью: раз-два-три-четыре. Пошла по узкой тропинке, протоптанной в снегу.

Странная тишина. Не свистят пули, не грохочут разрывы.

Ни души. Никого. Шла медленно. Впервые на войне безоружная. «Моську» Руслану на хранение оставила.

Так загадала себе насмешливо: ну вот, молиться дура поехала, какое же тут, на молитве, оружие; если подстрелят птичку, это, значит, Богу угодна моя смерть.

О своей смерти приучилась думать спокойно, как о чужой.

А о Боге... Что о Нем думать? Если все говорят, что Он есть, значит, есть.

Шла по тропе, по истоптанному снегу. Никогда Алена не была верующей. Ее крестили очень давно, во младенчестве – мать сказала ей: ты орала без перерыва, все устали от твоих воплей, и бабушка Наталья сама понесла тебя в церковь – крестить. Алене было тогда два месяца от роду.

Почему она поехала сюда? Да еще без оружия, дура. Хоть бы пистолет у Руслана взяла.

Мо-лит-ва. Мо-лечь-ся. Она шла по зимней тропе и повторяла эти слова, как молитву.

Она не умела молиться. Ее никто молиться не учил. Ни бабушка Наталья – православным, ни баба Апа – татарским молитвам. Бабушки только вздыхали: был бы ребенок сыт и счастлив, вот лучшая молитва. Ребенок... Ре-бе-нок...

Сапоги хрустели по снегу, скрипели: хр-р-р-хр-р-р. Она поехала сюда, чтобы помолиться. Чтобы ее научили. Да нет, нет даже, не за этим. Просто – помолчать. Может быть, поплакать.

За годы работы с Русланом, за годы жестокой жизни с ним – сначала в ее родном городе, потом на войне, – она разучилась плакать. Соленая водичка, иногда течет по щекам. Текла. Там. Давно. В другой жизни.

Что такое Бог? Может ли Он утешить человека?

Когда у нее было горе, Бог ее не утешил. Не помог. Утешил ее Руслан. Он окунул ее мордой в дерьмо и сказал: нюхала? Не хочешь жрать? Если не хочешь – иди со мной. Я тебя накормлю и развлеку.

Едой оказалась похлебка из расстрелянных гильз. Развлечением – смерть.

Ну и что. Кто-то должен на земле воевать.

Зачем люди убивают людей? Чтобы получать за это деньги. У каждого свое дело на земле. Каждому платят по делам его. Это работа. Ты тоже заработаешь деньги. Очень большие деньги. О-о-о-очень, о-о-о-очень большие деньги.

«Я не хочу такой работы. – Ноги в сапогах осторожно ступали по тропе, чистый снег морковно, свежо хрустел под подошвами. – Я хочу... отдохнуть. Что такое молитва? Нежно говорят красивые слова... бормочут... свечи жгут... я здесь отдохну... я... отдохну...»

Может быть, она просто устала. И ей правда надо отдохнуть. Хотя бы один день. Этот зимний день.

Синий снег. Чистый. Чистая простыня. Свадебная... простыня...

Алена остановилась. Пошарила в кармане. Сигареты Руслана. Она украла у него пачку сигарет. Она курила, когда не понимала, что с нею и с миром происходит. Дым давал мгновенное забвение, успокоение.

Она стояла на монастырской тропе, курила, смотрела, как вьется сизый, усиками, дым, исчезая в прозрачном мареве мороза. Далекие горы сверкали сколами под медово-оранжевым закатным солнцем. «Завтра тоже будет мороз», – весело подумала она, сделала последнюю затяжку и выбросила окурочек в сугроб.

Внезапно запахло свежей водой. Алена принялась. Вода, точно! Река рядом? Она осторожно прошла еще по тропке вперед – и перед ее глазами раскрылся огромный черный водяной крест, лежащий прямо на земле.

Крест из воды.

Замерло, потом забило сердце. Смотрела с полминуты. Черная вода слепо, нежно мерцала в вечернем тающем свете, подрагивала под лаской низового ветерка. Наконец Алена поняла. Большая купель в виде креста, вырытая монахами прямо в зимней земле, в снегу.

Вода колыбалась. Слабый ветер трогал ее. Мороз уже резво затягивал сизой плевой мрачную поверхность водяного креста.

Она, оглаживая на себе камуфляж, вытирая внезапно вспотевшие ладони о штаны, подошла ближе к купели. Деревянная лесенка вела прямо в воду.

Из-за угла разрушенной церкви, из-за осыпавшихся кирпичных старых зубцов к ней шагнул человек в черном. Монах. Один из тех, кто тут еще живет. Он улыбался.

– Здравствуйте! – радостно воскликнул. – Прибыли к нам! Откуда?

Алена смолчала. Монах радостно продолжал.

– А ночью-то к нам, на Крещенское повечерие, на Сочельник, много вчера народу было! Ой, много! Из самого Грозного приезжали. Из Нальчика тоже. Из окрестных мест. Купались, окунались. Вы-то – не будете?

Пальцы Алены уже сами расстегивали пятнистую гимнастерку. Бесстыдно расстегивали ремень. Бойко, быстро она стаскивала сапоги, развязывала портянки, сдергивала камуфляжные штаны, дивясь сама себе – вот это да, что это с ней случилось! – пока не осталась в исподнем. Исподнее у нее было простое: хлопковая короткая рубашка, белые трусы, белый лифчик. И под портянками – носочки: «как в первом классе», презрительно подумала она сама про себя.

А монах уже крестился вовсю, крестил ее, затягивал радостное, трубное:

– Во имя Отца и Сына... и Святаго Ду-ха-а-а!

Алена носки стянула. На снег бросила. Босые ступни коснулись обледенелых деревянных ступенек лестницы. Они сначала вели вверх, потом вниз. Алена крепко, боясь поскользнуться, вцеплялась в перила. Ободрала себе до занозы руку. Боли не чувствовала. Когда ноги ушли под черную толщу изнутри светящейся воды – ощутила: сердце от радости хочет выпрыгнуть из горла, в виде маленькой птички.

– Окунайся! – крикнул монах, воронье-черный на белом. Небо уже потемнело по-ночному. Высоко, в запределье, горели цветные лампы веселых звезд. – Три раза! Трижды надо! И крестись при этом!

Алена вошла в ледяную купель по грудь, и дыхание разом вышло из нее. Так выходит дыханье при кончине, отчего-то подумала. И следом – сразу, весело: «А ведь я не умру. Все умирают, а вот я – не умру».

Перекрестилась и резко ушла с головой под воду. Вынырнула. Тело горело, кололо тысячу игл. Еще крест наложила. Еще под воду ушла. Выбросилась из-под воды пулей. Еще одно знамение, последнее. Еще – с головой – в черный потусторонний мир, в боль, в кровь, в грех, в смерть. В небытие. И снова – в белый снег. В зерна звезд. В свет снежных гор, как белых свечей. Весь вкусный, чистый хлеб мира – перед губами. Она откусит сейчас снег, как хлеб. И засмеется от радости.

– Выходи! – крикнул монах, сам счастливый донельзя. – Омылась душа! Празднует!

Рубашка облепила ее живот, бедра, грудь, когда она выходила из купели, скрюченными ступнями, как зверенок – когтями, вцепляясь в обледенелую лестницу. Монах отвел глаза. А потом опять их поднял. Сколько он видел на веку омывающихся, счастливых, в иордани, свежей проруби Крещенской!

«Думает обо мне: красивая девчонка. Соблазняя я его. Ну мужик же он. Зачем люди в монахи идут? На горло своей жизни наступают?»

– И обтереться-то у тебя ничего нет...

Алена схватила с земли гимнастерку и крепко растерлась ею. И, мокрая, влезла живо во все свое армейское, солдатское, и смеялась от радости – неужели она это совершила, неужели искупалась в иордани! Раньше, в ее родном городе, она на купающихся в Крещение в реке или проруби глядела, как на полоумных: идиоты, что творят, заболеют! Теперь странно-новая, чистейшая радость переполняла, распирала ее.

– Эге-гей, душа живая, – сказал монах, потирая руки, – гостя ты милая! А мы вот тут варево чудное сварили. Уж нет тех монахов, что его варили, а мы все варим... Идем, попробуешь! Тебе это сейчас ой как надо!

И Алена, вся розовая, светлая, сияющая, пошла за монахом, как волчица за волком, след в след, и монах шел впереди, и ей казалось отчего-то: огонь у него в руке. И так они вошли в маленький монастырский домик, где три монаха и жили. Один наклонился над дымящимся котлом. Другой вслух читал из толстой книги. При виде Алены оба оторвались от своих дел, встали, поклонились.

– Мир тебе, сестра! Издалека ли?

– Не очень, – сказала Алена, дую на руки. – Рядом тут.

– Вот, выпей, – сказал старый монах в круглой черной шапочке, который варил в большом котле что-то вкусное, пьяное, зачерпнул поварешкой, налил в маленькую, будто кошачью миску, протянул Алене. Она взяла миску в руки. Темно-алое горячее вино дышало ей в лицо сладким паром. Она вытянула губы трубочкой и осторожно втянула в себя напиток. «Глинтвейн... нет, лучше». Монах, что читал вслух, наклонился, вынул из-под лавки бутылку кагора, раскупорил ее, вылил всю в котел.

– Спасибо, – выдохнула Алена счастливо.

– Храни Господь, – ответил монах, переложил бутылку в другую руку и перекрестил Алену.

– Ну, я пойду, – сказала Алена смущенно. Горячее вино перетекало по жилам, как огонь по поленьям в печи.

– Куда пойдешь на ночь глядя? Оставайся. Переночуешь, завтра пойдешь. Мы постелим тебе в трапезной. Все равно там у нас никто не обедает и не вечеряет. Будешь как царица.

Они ни о чем не спрашивали ее. И она – их.

Молодой монах почитал над ней, когда она улеглась под пропитанные сыростью и холодом простыни, какие-то красивые, непонятные древние молитвы. Алена согрела своим дрожащим телом холодное белье из суровой бязи, глубоко вздохнула и уснула. Она забыла, зачем приехала сюда, в умирающий монастырь.

А утром вспомнила.

Она приехала, чтобы отмолить грех. Свое первое убийство. Бедного, нерожденного ребенка своего.

Медная рака

– Ну как ты, милая? – Монах, тот, что постарше, с седыми волосами, выбивающимися из-под черной странной шапки, осторожно постучавшись и услышав Аленоно громкое «да!», вошел к ней в келью. – Господь с тобой. Знаешь молитвы утренние?

Алена с удовольствием смотрела в его старое, но румяное как у молодого лицо, на белозубую улыбку. «Чернявый, на чеченца похож. А по-русски говорит, будто в Москве родился».

– Не знаю. Я никаких молитв не знаю.

Алена потупилась.

– И «Отче наш» не знаешь? И «Богородицу»? Так это же самые... – Монах замялся. – Самые наши родные... Их даже дети знают...

– Ну вот не знаю я. Такая плохая.

Монах нежно прикоснулся рукой к ее плечу, к черному пятну камуфляжа.

– Хорошо. Повторяй за мной: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий...

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий...

Горло пересыхало, как в пустыне.

– Молитв ради Пречистыя Твоя Матере и всех святых...

– ...и всех святых...

– ...помилуй нас.

– Помилуй нас.

– Аминь, – сказал монах. И еще сказал: – Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

И широко, будто траву косил и высоко вздымал косу, перекрестился.

Смотрел на Алену. Алена смотрела на него. Глаза в глаза.

Поняла: он ждал, когда она перекрестится так же, как он.

Подняла руку. Рука чугунная.

«Я же крестилась, когда сюда входила, в ворота. Легко так, раз-раз. Даже и не задумалась. Что со мной?!»

Монах видел: она не может перекреститься.

И все же она кривой, нелепой рукой перекрестилась под прозрачным, хрустальным взглядом монаха.

– Деточка, – монах положил руку ей на голову, – надо исповедоваться... и причаститься. Без этого дальше трудно будет жить.

– Не знаю я ничего, – сказала Алена.

– Идем, – сказал монах. – Исповедь у тебя приму. Братия послужат со мною. Будем литургисать. Подойдешь к Святым Дарам. Иначе... болеть будешь. Гаснуть. А ты – молодая. Тебе жить и жить. Детишек рожать...

Алена сжала зубы. Послушно пошла за монахом, а монах шагал широко, крупно, и угольно-черная ряса развевалась за спиной черным флагом.

Монах шел по снежной тропе. Алена – за ним. Вдруг старый монах остановился, обернулся к Алене.

– Прежде чем причащать тебя буду, – тихо сказал, – ты должна увидеть кое-что. Здесь.

– Что? – спросила Алена. Мороз щипал ей щеки, уши.

– Идем.

Монах повернулся и снова пошагал по тропе. Ночью немного намело снега, и монах прокладывал новый след по тропе, глубоко впечатывая в пушистую белизну утюги-сапоги.

Купол храма был разбомблен, из дыр лился ослепительный, ярко-желтый солнечный свет. Лучи падали косо и отвесно, разрезали мятную полутьму холодного пустого храма. На стенах, облупленных и порушенных, кое-где еще висели не украденные, не расстрелянные иконы. Всюду пустота и сиротство. Фрески сползли серебряной и золотой чешуей, по углам ветер наметал мусор. Обнаженные кирпичи, белые и красные, скалились ртом с выбитыми зубами.

Алена задрала голову, рассматривала огромный иконостас, вернее, то, что от него осталось. Она не знала, что такое праотеческий чин, пророческий, деисусный. Видела: там, где нарисованы белобородые босые старики с кругами над головами, там все пробито, дыры зияют. А вот красивая женщина с ребеночком на руках внизу, там, где ворота какие-то открылись, распахнулись, – цела.

Алена глядела в лицо нарисованной женщине. Женщина, подняв лицо от своего ребенка, глядела в лицо ей. Монах глядел на них обеих.

– Богородица, – тихо прошептал он. – Поклонись Ей.

Огромные глаза женщины летели впереди лица.

Алена почувствовала себя под взглядом этой женщины, про которую монах сказал, что она – мать Бога, холодно, неприютно, будто ее раздели, и она стояла голая на пронизывающем ветру. Обняла себя за плечи, закрывая от взгляда-ветра грудь, живот.

– Почему... она так смотрит?

– Любит тебя. Видит тебя.

Монах вздохнул.

Расстрелянный иконостас матово, тускло мерцал еще живыми красками. Темно-вишневые, густо-золотые фигуры пророков и мучеников медленно уходили из живого военного времени в ледяное море погибших времен.

– Пойдем теперь к святой раке, – тихий голос монаха эхом отдался под сводами, загудел в вышине.

– Куда? Какие еще... раки?

– К мощам приложишься.

«Какой терпеливый, не ругает меня за невежество». Она, вслед за монахом, подошла к странному, кажется, медному сундучку. Или гробику, подумалось ей насмешливо. Сундучок обит золотой и пурпурной парчой и украшен медной отливкой, смешными позолоченными завитками.

– Встань на колени, – велел монах. Алена встала. Монах бережно откинул крышку раки. И снова перекрестился. «Как часто крестится. И не устал».

Из распахнутого сундучка Алене в лицо полетел незнакомый аромат. Запах плыл, тревожил. Алена, как гусенок, вытянула шею, пытаясь рассмотреть, что же там, внутри. Монах стал читать молитву. Молитва была длинная и непонятная, на древнем языке, забытом, как тяжелый сон, и Алена терпеливо ждала, пока монах закончит.

– Что это? – тихо спросила, когда монах замолчал. – Чем пахнет?

– Это мощи.

– Что такое мощи?

– Встань. Гляди.

Она встала с колен и заглянула в раку.

На дне раки лежал скелет. Череп обтянут высохшей кожей. Алена с любопытством и отвращением глядела на костяные фаланги пальцев, упокоенно сложенных на груди, на торчащих ребрах. Скелет присыпан серой пылью. «Прах», – всплыло из глубин памяти старое, страшное слово.

Монах благоговейно встал на колени, поцеловал раку, приложился к ней лбом, щекой.

– Мощи блаженные.

– Чьи это кости?

– Солдата нашего. Пытали, убили, не снял креста.

Изумление, недоумение Алены росло. Парня русского чеченцы шлепнули? Ну и что? Это же война. Обычное дело.

– Всех же убивают! – крикнула она. На всю пустую разрушенную церковь раскатился крик. – Но почему-то трупы так не пахнут! А... это... не колдовство?

«Духами набрызгали и радуются».

Монах снова наложил на себя крестное знамение и пробормотал: сгинь, сатана.

– Не богохульствуй. Зачем так. Целуй раку святую.

Алена наклонилась. Медный холод обжег губы. На высохшей кисти, на безымянном пальце тускло блестело золотое кольцо. Мученик был женат. «Обручальное... чечены не сняли. Даже золотом русским побрезговали, вот как нас ненавидят». Медный крестик красной птичьей лапкой лежал на груди скелета.

– Тебе надо исповедоваться.

– Я, да... – Алена судорожно слотнула. – Я никогда... А кому?

– Мне. Больше некому.

– Что мне делать?

– Говори про все грехи твои. Про все плохое, что в жизни сделала. И даже не сделала, а только подумала.

Алена стояла перед монахом, опустив голову, угрюмо смотрела на свои грязные сапоги.

– Ну... – Ей вдруг стало страшно. Хуже, чем в бою. – А что такое... все грехи?

– Грех – это самый ужас для человека. – Монах говорил с ней, как с больной или слепой. Как с ребенком. – Душа чернеет. Покаешься, Бог тебя простит. Будешь чистая, как из купели. Начинай! Не бойся!

Он понял ее страх.

– На колени встань... легче будет.

Она встала. Коленям неудобно и холодно на каменных плитах.

– Ну... – опять сказала Алена. Язык не слушался ее. – Я... это... я... учителям врал... занятия пропускала... родителям плохие слова говорила...

– А здесь, на войне? – Он старался помочь ей, она поняла это. – Здесь? Сейчас? Что делаешь тут?

Холодный пот облил спину. «А вдруг он знает, кто я такая?! Вдруг – догадался?! И нарочно ловит меня. И они позвонят сейчас федералам, и выдадут меня, и...»

– Я? Здесь?... Я...

Откуда это пришло к ней, вырвалось?

– Я кашу варю... в детском доме. Тут детский дом разбомбили... немного детей осталось... так я им... кашу... и суп...

– Детский дом? Где это? – Монах вздохнул. – Ну пусть будет детский дом. – Она видела: он ей не поверил. Но терпеливо ждал правды. – Перечисляй грехи свои. Скажешь – и освободишься от них.

Внутри нее все стало каменным, железным. Железная волна поднялась из глубины и все затопила. «Как же, держи карман шире. Скажешь – и излечишься, как же! Вранье это все! Вранье. Люди все это сами себе придумали. И церковь. И рясы эти. И исповеди эти. И... Бога. Да, и Бога тоже сами себе люди придумали! А не Он сошел к ним с небес! Но отчего так сладко пахнут эти кости?! Эти... мощи... этого бедного мальчика...»

– Я...

«Скажи ему, что ты снайпер. Что убиваешь людей на войне. Что это твоя работа. Что тебе за нее деньги заплатят. Скажи ему, скольких ты уже убила! Ну! Быстро!»

– Я... я...

«Ну, скажи самое главное. Самое страшное. То, ради чего ты явилась сюда, не запылилась. Что ты когда-то, давно, там, ребенка своего...»

– Я... – Она выдавила это из себя, как краску из засохшего тюбика. – Гре... шна...

Слезы светло взорвались в ее глазах и быстро, обильно заструились по щекам. Монах накрыл ее голову, лицо вышитой, пахнущей старым печеньем бархатной тряпицей и что-то ласковое, спокойное тихо произнес над ней, будто песню спел.

Пришли другие монахи. Стали служить литургию. Алена не понимала ни слова. Стояла тихо; быстро крестилась, как обезьянка, когда монахи крестились. Старалась повторять их движения, их повадки. Один монах так красиво пел, хотя голос у него был хриплый, как прокуренный. Старый монах то входил в ворота, разрисованные фигурами, лицами и голубями, то выходил обратно, держа что-то в руках; Алена боялась смотреть, но все-таки вскидывала ресницы: кажется, чашу. Да, такую... огромную золотую рюмку, что ли.

Ворота закрывались. Ворота открывались.

Она не знала, что это – Царские врата. И что там, за ними, – алтарь.

Она ничего не знала, знать не хотела, делала вид, что ей все интересно, важно, рассматривала темные золотые завитки на окладах икон, а на самом деле ей было томно, скучно, тяжело и тоскливо.

Когда два монаха вошли туда, внутрь, в колышущееся от свечного света марево, и ворота снова закрылись за ними, а потом опять открылись, и странный нежный свет хлынул оттуда в искалеченный храм, стоявший рядом с ней монах запел громко:

– Иже херувимы тайно образующе...

«Ворота какие красивые. Жалко, раскурочили тут все. А ведь какая красота была».

Монахи еще что-то долго, много пели, читали, говорили. И опять разрисованные ворота закрывались и открывались. Наконец старый монах вышел навстречу Алене с чашей в руках, похожей на громадный тяжелый кубок. Голоса монахов сливались, расходились. Алена уловила в море льющихся песнопений:

– ...но как разбойник призываю Тебя: вспомни меня, Господи, во Царствии Своем...

«Разбойник? Кто разбойник? Какой еще разбойник? А я, кто я такая? Я – разбойница? Это они обо мне? Ведь я же убиваю...»

Ком подкатил у нее к горлу. Она неотрывно смотрела на закрытые Царские врата. Вот мужчина с серебряной бородой... вот голый, распятый Бог... а вот опять она. Эта женщина. С ребенком на коленях. С глазами в пол-лица.

Алена, стесняясь сама себя, повалилась на колени. «Надо упасть на колени, да, вот так». Ее потный лоб ощутил холод изгрызенной временем каменной плиты. «Прости... прости... как надо молиться?.. Кому?.. Богу голому этому?.. Этой большеглазой, длинноносой женщине... с ребеночком?.. Я не умею... не могу... прости!»

Кому она шептала это «прости»?

Под мышки ей просунулись руки. Подняли ее с гранитных плит. Под гудение голоса, как шмеля, над головой в губы и зубы ей ткнулась ложка с чем-то сладким, терпким. Хлеб, размоченный в вине, догадалась она.

– Яко Ты еси освящение наш и Тебе славу воссылаем...

Сласть ожгла и похолодила язык.

«Я недостойна. Что ж я делаю-то».

Алена проглотила причастие.

Она ничего не почувствовала, кроме сладости кагора, согревшего гортань – и холода древних плит, медленно, обреченно протекшего через грязные подошвы ее тяжелых сапог до самого детского, нежно-трусливого, заячьего сердца.

«Дура, дура. Слабачка. Не смогла».

Так и уехала из монастыря – ни с чем.

Не покаялась ни в чем. Причастилась с горечью в сердце пустом. Ну что такое это причастие, над которым они все так трясутся? Вино смешают с хлебом, и все. И все! Бабушкины все это сказки!

Не вышло. Не получилось. Значит, и не надо соваться.

Старый монах все понял, что у нее на душе творилось. Ни слова не сказал ей.

Только поклонился низко, низко на прощанье и улыбнулся: «Мы здесь, братия, за твою душу будем молиться. Как имя твое? Алена?»

«Алена», – сказала Алена.

«В святцах такого имени нет. Елена – есть. Будем молиться за рабу Божию Елену».

Алена шла по тропинке к выходу, к разбитым каменным воротам. Снег хрустел под сапогами: хр-хр, хр-хр-хр-хр. Солнце било в лицо.

Только бы не подстрелили, когда попутку буду ловить, зло подумала она.

Монахи стояли, все трое, у домика, где они жили. Махали ей руками на прощанье.

И она тоже взмахнула рукой.

Вышла на дорогу. Закурила. При монахах курить стеснялась. Да и не до курева было. Машина тормознула рядом. Из-за стекла на нее глядело надменное бородатое лицо. Горец. Чечен. Значит, свой, ха-ха. Повезло.

– В отряд Руслана Бесоева, туда, – махнула она рукой на восток. – Быстрее мне надо. Тебе все равно по пути.

– Кто такая?

– Снайпер Лесина.

Она раскрыла ладонь и показала угрюмому старику характерные, твердые, как чечевица, мозоли от винтовки на пальцах и ладони. Трудовые свои, страшные мозоли.

Ну как, спросил ее Руслан, когда она вернулась, помолилась своему Богу? Алена сухо, молча кивнула. За ужином она с удовольствием, с жадностью поела сочного жареного мяса. Руслан уложил ее с собой в комнате – и, на ее удивление, ее не тронул. «Уважает мою молитву», – подумала издевательски, горько.

Ночь надвигалась, шла и протекала черной рекой. Алена не спала. Смотрела в потолок горского дома. «Сакля чистая какая. Ни пылинки. Хозяева стараются. Для своих. Чтобы доб-

лестные чечены злобную гадскую русскую империю победили». Молчание жгло изнутри. Ни выстрела. Ни ночного шороха. Ни стопа. Только тихий храп Руслана. Золотая серьга в его мочке светилась в темноте спальни, кривой клюв попугая. Будто плеть хлестнула Алену, мокрая, жгущая. Крик рвал потроха. Она убила крик в себе, задавила.

«Каждый живет на земле, делая свое дело! А я?! Что я делаю на земле?!»

И она снова ужаснулась тому, что она делает на земле. Сцепила зубы, но все-таки застонала. Руслан пошевелил головой. Из его рта на подушку стекала сонная слюна. Он не проснулся. Что-то пробормотал на своем языке и положил на Алену тяжелую, горячую руку.

Детские стихи Алены

*Морковь, морковь, красна как кровь!
Сегодня мы с бабушкой пошли в огород
И увидели там морковий народ.
Раз, два, три, а ну, морковка, ко мне в рот!
Красна как кровь! Моя морковь.*

Фреска третья. Вино (изображение льющегося из кувшина красного вина на Вратах)

Алена спасает мальчика

Боевики Руслана заняли это селение. Обычное село в горах – Алена такие здесь видела-перевидела. Селение выстроено мощнее, крепче, чем ближние горские бедные аулы: дома хорошей, крепкой кладки, были и двухэтажные, и даже трехэтажное попалося. Школа, наверное. «Поселок городского типа, что ли, пэгэтэ, раньше так называли». Алена выдохнула воздух, как дым табачный, поправила висящую на плече винтовку.

Они думали, что заняли поселок навек? Нет, конечно, они так не думали. Так не думал и Руслан. Вечером он сказал своим солдатам: «Хоть разведка все прочесала – а все равно чувствую: воздух плохой. Нападут на нас ночью поганые свиньи».

Так и есть. Напали. Чутье Руслана не обмануло.

Загрохотало вдруг и страшно. Сухо хлопали выстрелы. Как картонные, падали стены, разваливались, плохо пропеченным печеньем.

Алена вскочила с постели. Живо натянула камуфляж, берцы. Руслан ей берцы подарил. Может, с убитого русского снял. Плевать ей. Грохот закладывал уши. Руслан уже стоял в дверях, под притолокой. Лицо жесткое, как колотый кирпич.

– Винтовку! Быстра!

Алена схватила свою «моську».

– Автомат тожэ!

Она схватила автомат, тяжело взбросила на другое плечо.

– Мне тяжело, Руслан... Автомат возьми...

– Другой вазьму. – Его звериный голос острым зубом летучей мыши-вампира вошел ей под гортань, под подбородок. – Шэвэлись!

Ударило рядом, и Алена на миг оглохла от грохота. Видела, как двигаются губы Руслана. «Сизая щетина, щеки синие. Бороду отпустил бы, что ли». Дрожала, и дрожали руки.

– Бэги! – Теперь от его крика у нее заложило уши. – Сэйчас сюда вжарят, и рухнэт дом! Бэги за дом! За камни! Туда, где камни навалэны!

Ногой ударил в дверь.

Алена выбежала. Оружие оттягивало ей плечи и руки.

Воздух пах противной гарью. Наемники, ругаясь каждый на своем языке, горохом посыпались за белокаменную ограду дома. Над головой Алены мерзко засвистело. Она присела, с винтовкой и автоматом наперевес. Разогнулась и опять побежала.

В уши врезались крики. «Кричат, значит, живые». Кто? Ей безразлична жизнь наемников Руслана. Им безразлична ее жизнь. «Каждый свою шкуру спасает. Свои потроха». Опять пригнулась – просвистело над головой.

Вопреки приказу Руслана не спряталась за ограду. А повернулась – и, еле таща тяжелое оружие, топая тяжело, как медведь, побежала в расколотый снарядом дом.

Кто тут жил? Люди жили тут. Их убили? Может, и нет. Тихо, как мыши, затаились. Может, ночью выходили – в колодцах воду набрать. Попрятались все. В сарай... в погреб...

«И скотина сидит тихо... войны боится. Сколько скотины перемерло, не только людей».

– Эй! Ду-у-ура! Куда-а-а-а!

«Вопи, ори, сколько влезет».

Алена задыхалась. Полоса огня резанула воздух рядом. Еще вот так прочертит – и пере-режет ее пополам.

Нырнула в развалины дома. Столб огня встал на месте, где только что стояла она.

– Дура! – издали орал Руслан. Голос заглушали разрывы. – Дура-а-а-а!

– Сам дурак, – шепнула Алена.

Поглядела вверх. Потолка нет. Дыра. Рваные каменные края. Лестница вела наверх. «Зачем наверх, взорвут, и верх обрушится. А внизу? Внизу завалит. Руслан прав, надо было сидеть за камнями. Отстреливаться». Мысли режущие, ясные, холодные. Стекланные. «Мясорубка, крошево. Ты мясо, тебя искрошат. Война обожралась мясом. Ее сейчас вырвет». Смех, похожий на короткое ржанье, хрипло вылетел из нее. Она оглядывалась. «Может, есть подвал. Дура, тебя завалит! Не завалит, камня мало, всего два этажа, не десять же. Дура, и двух хватит, чтобы ты там навек задохнулась».

Хотела бросить на пол автомат – не бросила. «А вдруг „моська“ откажет. Мало ли что». Выбила ногой дверь в комнату. Заглянула. Пусто. Выбила в другую. Пусто.

Снаружи рвались снаряды. Воздух густел от жара. Вопли боевиков смолкли. «Всех перебили, что ли? Или отбежали куда-то в безопасное место? Плевать. А если меня найдут здесь федералы с „моськой“ и АКМ? Сразу прибьют. Чикаться не будут». Холодные, рваные, честные мысли. Жесткие, как металл ствола.

Обрушилась стена слева. Алена шарахнулась вбок. Села на корточки. Опять ничего не слышала. Медленно возвращался слух. Положила автомат и винтовку на пол и прикрыла затылок, уши руками. Обняла себя за голову и так сидела. Ждала, пока слух вернется.

В ушах звенело.

Далеко – или рядом – за стеной – или над крышей – послышался странный звук. Плач? Хохот? Стон?

– Там кто-то... живой, – вслух сказала Алена. Еле себя услышала.

«А может, это я сама стонала». Взяла в руки автомат. «Внимание. Может... они там засели. И я сейчас дверь открою, а они меня... в упор».

Алена ногой в грязном берце бахнула в дверь. Дверь отлетела.

Пустая комната. Мертвый дом. Врезан снарядами, как рыба.

Опять стон! «О, мать же вашу за ногу...»

Переступила порог. Вошла.

За старым сундуком с обитой полосками железа резной крышкой сидел скорчившийся мальчик. Скрючился, червячок. «Зародыш в брюхе у бабы. Плод». Алена, бухая берцами об пол, подошла к сундуку. Голова мальчика была странно воткнута в колени. Руками он обхватил себя за шею. По тонкой цыплячьей шейке щедро течет кровь. Вся спина в крови. Ее затошнило. Мальчик не двигался. Мертвый? Алена села на корточки. Тронула его рукой за голову.

– Эй... Ты...

Мальчик пошевелился под ее теплой, горячей рукой. По-собачьи проскулил:

– У-у-у-у...

Алена швырнула на пол автомат. Схватила мальчика за плечи. Цапнула его голову за подбородок, попыталась поднять, повернуть к себе. Он застонал уже громко, в голос. Тощенький, кожа да кости. Глаза крепко прижмурены. Ясно, жил здесь. Домашние сбежали до наступления. Или всех убили. А его не добились.

Алена выволокла мальчика из-за сундука. Он что-то сказал по-чеченски. «Наверняка хочет пить. Здорово подбили! Везде...» Кровь текла у мальчишки из шеи, из плеча – вторая рана зияла над ключицей, – из ноги. «Хорошо прошили. Всюду. Осколки. Или пули. Все равно. Хорошо, что не в живот. В живот бы – сразу не жилец».

Алена взяла мальчика на руки. Он открыл глаза.

– Зая, – сказал отчетливо. – Зая!

– Это не Зая, – сказала Алена, тепло дыша ему в заолодавшее лицо. – Меня Алена зовут. Не бойся.

Огляделась. Куда бы положить парня? От кровати в углу комнаты остались одни вздернутые, покореженные доски. Перо из разорванных подушек рассыпалось по полу. Она стояла как в белых облаках. Перья летели в нос, щекотали щеки. Алена смешно чихнула. Подбрела с мальчиком на руках опять к сундуку. На сундук его положила. Снаружи выло и рвалось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.